

СИБИРИАДА

ВАЛЕРИЙ
ТУРИНОВ

На краю
государевой
земли

Сибириада

Валерий Туринов

На краю государственной земли

«ВЕЧЕ»

2009

Туринов В. И.

На краю государевой земли / В. И. Туринов — «ВЕЧЕ»,
2009 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4444-8767-9

Сибирский край – государеву землю – русские купцы и первопроходцы осваивали без малого триста лет. Медленно, порой задерживаясь на одном месте на годы, двигались они вдоль могучих рек, по степям и тайге, где добром, а где и огнем добывая себе право «сесть на землю». Но были и организованные походы, которые возглавляли царские воеводы и казацкие полковники. Одним из таких известных и успешных царевых людей был Яков Тухачевский. Его отряд проделал тысячекилометровый путь от Тобольска до Ачинска и Кузнецкой земли, заложив несколько важных крепостей (острогов) по рекам Западной Сибири и подчинив власти Москвы окрестные племена. О нем и его ближайших сподвижниках повествуется в новом романе известного писателя-сибиряка Валерия Туринова.

ISBN 978-5-4444-8767-9

© Туринов В. И., 2009
© ВЕЧЕ, 2009

Содержание

Глава 1. Сургутские	6
Глава 2. Макуйли	60
Глава 3. Набег	66
Глава 4. Поход в «Кузнецкую» землицу	76
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Валерий Туринов

На краю государственной земли

© Туринов В. И., 2009

© ООО «Издательский дом «Вече», 2009

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

* * *

Посвящается 400-летию г. Томска

Глава 1. Сургутские

7117 год от сотворения мира¹, по летоисчислению которого когда-то, еще до реформ Петра I, жила Московская Русь, отсчитывая начало года с первого сентября.

Октябрь месяц. Кремль. Просторный двор московских приказов. С трех сторон он был зажат длинным двухъярусным зданием. С четвертой стороны он выходил к Архангельскому собору и был грязным и суетным. Здесь постоянно бегали приказные, бездельно толкались мелкие служилые, у коновязей громко ругались боярские конюхи и холопы, а под окнами Судного приказа недельщики и батожники вели обычный правож. Изредка через двор проплывала высокая горлатная шапка боярина. А впереди нее, расчищая ей путь, испуганно покрикивая, бежали холопы. И весь день здесь хлопали двери приказных палат, входили и выходили люди, занятые какими-то важными делами.

Место здесь было необычное, особенное. В этом большом двухъярусном здании сосредоточилась государственная жизнь всей Московии, невидимая и непонятная для непосвященных. Сюда стекались отписками и челобитными значительные и маломальские государственные дела. Отсюда же, грамотами и указами, они разбегались по всем уголкам быстро распухающего огромного государства, стягивая его в единое целое и заставляя ритмично двигаться, чутко реагируя на малейшие изменения где-нибудь на стыке с ногами или на подвижки калмыков. А то вдруг лихорадочно пускались догонять уже прошедшие события под Смоленском, в Диком поле или на «свейской» границе.

Большие и светлые палаты, выходящие окнами на три стороны, – на Ивановскую площадь, к Архангельскому собору и во внутренний двор – занимал Посольский приказ. Рядом с ним, в нижнем ярусе, разместился более влиятельный приказ, Разрядный. В обиходе его называли просто – «Разряд». Он ведал всякими военными делами Московского государства. Возле Разряда находился самый многочисленный по штату приказ, Поместный. Он выходил на угол всего этого приказного здания. Подьячие его, а их было за сотню, всегда были завалены делами о тяжбах, и двери палат ежедневно подпирала толпа просителей. Кучно по палатам сидели подьячие приказов помельче: Большого прихода, Разбойного, Стрелецкого, Пушкарского, Иноземного и Ямского. В них обитало по десятку, а то и меньше, совсем уже худородных подьячих², вся жизнь которых, с рассвета и до поздней ночи, была заперта в тесных и темных палатах.

Худородный грамотей начинал свою службу обычно с «молодого» подьячего. Затем он поднимался до «среднего» и «старого». Если выслуживался, то ходил «с приписью», когда ему доверяли подписывать, скреплять «по скрепам» столбцы документов. И мечтой такого подьячего было выйти в повытки, ведать повытью, куском московской земли. И уж совсем захватывало дух, когда удавалось «сесть на стол», почувствовать под своим пером, под своей рукой, солидную территорию, подведомственную приказу.³

Это приказное семя, брошенное царем Иваном Грозным на благодатную русскую почву, быстро проросло, дало невиданные всходы и обильный урожай, который Россия была уже не в состоянии перемолотить за последующие века.

¹ 1609 год от Рождества Христова.

² Подьячий – помощник дьяка в административном учреждении; дьяк – должностное лицо административного учреждения, начальник канцелярии; думный дьяк – дьяк, входивший в Боярскую думу.

³ Столбец – документ в виде длинной ленты из подклеенных один к другому листов для хранения в свитке; такие столбцы порой доходили длиной до нескольких сот метров. Скрепка – подпись должностного лица на стыках склеенных в столбец листов какого-либо документа. Скреплять – подписать скрепленные (склеенные) в столбец листы документов в местах стыковок (в знак подлинности). Повытье – земельный участок, надел, пай. Выть – участок земли, находившийся в пользовании или принадлежавший отдельному хозяйству.

Приказ Казанского дворца, ведавший новыми московскими провинциями, Казанским ханством и Сибирским, располагался далее за Поместным приказом. Он тоже был на первом ярусе, занимал хоромы в торце этого здания. Окнами же он смотрел на улицу, за которой стоял двор боярина князя Федора Мстиславского, главы государственной думы. И там же, подле двора боярина, блестел маковками храм Николы Гостунского. Он бросался сразу в глаза, как только выглянешь в окна из приказных палат.

И вот здесь-то, в одной из комнаток приказа Казанского дворца, за своим столом сидел дьяк Семен Еуфимьев, заправляя всеми приказными делами. Дьяк был седовлас, ему уже минуло за пятьдесят, что было заметно по жиденькой копне волос, когда-то густых и темных. Лицо его, полноватое, изрытое грубыми морщинами, выдавало, что жизнь прошла по нему рубцами. Глаза же его, с просинью, взирали на двоих служилых, сидевших напротив него на лавке, смущенно сжимая в руках шапки.

Один из них был большеголовый крепыш. Другой, среднего роста, был тонок в кости и казался на вид слабым. На его скуластом лице выделялись выразительные зеленоватые глаза с затаенной печалью, придавая ему вид безобидного покладистого простачка. Большеголовый, Тренька Деев, ходил сургутским пятидесятником у казаков. А тот, другой, среднего роста, Иван Пущин, был сургутским стрелецким сотником.

И вот сейчас их, сотника и пятидесятника, долго расспрашивал о Нарымском остроге дьяк. Он почему-то дотошно интересовался его постройками, как будто не было у него под рукой десятка отписок Григория Елизарова, тамошнего воеводы.

Такое, чтобы простых служилых пытал расспросами сам дьяк Еуфимьев, свояк Гришки Отрепьева, самозванца, бывшего царя, а сейчас уже покойника, бывало не часто. Поэтому они чувствовали себя неважно.

Наконец, дьяк отпустил Пушину, но еще задержал у себя Деева.

Тренька, вспотевший от волнения, глянул на приятеля, отразив на лице, жалком и потерянном, всю тоску по воле: той, совсем рядом, что была за дверями приказа.

Иван нерешительно затоптался на месте, не зная, что делать: то ли уйти, то ли подождать его.

– Иди, иди, Пущин! – строго сказал ему дьяк. – А мы еще потолкуем, – кивнул он головой на Треньку.

– Ладно, до постоянного! – бросил Иван приятелю и вышел из палаты.

На дворе он облегченно вздохнул. Он всегда чувствовал себя неуютно в обществе дьяков и подьячих.

Оказавшись на свету, после темных палат, он зажмурился от яркого, но уже по-осеннему скупого на тепло солнца. По его лицу мягко скользнули и пробежали солнечные блики, отразившиеся от маковицы колокольни Ивана Великого. И чтобы не поймать «зайчиков», Пущин осторожно приоткрыл глаза, наклонил голову и взглянул снизу вверх на эту маковицу, словно впервые увидел этот пылающий золотым огнем факел посреди Кремля на гигантской белокаменной башне. Он же, этот факел, плыл по голубому безоблачному небу и вызывал почему-то бессознательное чувство грусти и тревоги.

Пущин любил столицу, любил так, как обычно любят ее провинциалы. Все в ней кажется им наполненным особенного смысла и предназначения, чего-то более высокого, чем их простая жизнь. Чем она была для него, он не смог бы связно объяснить даже сам себе, хотя всегда с нетерпением ожидал поездки сюда. Приехав же, он томился, не знал к чему себя приложить. Помучившись, он покидал ее обычно с облегчением, чтобы вскоре затосковать вновь.

Из этого приятного расслабленного состояния его вывели громкие крики за углом приказного здания. И он увидел, что во дворе у коновязей поднялась суматоха. Боярские холопы

как будто ждали этого сигнала. Они вскочили на коней, кучно двинулись со двора и скрылись за углом приказного здания.

Озадаченный этим, Иван бросился вслед за ними, завернул за угол и остановился, пораженный открывшимся зрелищем.

На площади, под колокольней, разворачивалось самое настоящее побоище. Там дико ржали кони и металась всадники. Кто-то уже летел на землю... Дрались и на мостовой, жестко втаптывая в грязь упавших. Общая свара затягивала в свой оборот и праздных зевак...

«Так то же сшибка!» – мелькнуло у Пущина. Он догадался, что это была обычная для Москвы драка ярыжных и боярских холопов.

Об этом он уже слышал. Однако ни разу до сих пор ему не довелось воочию наблюдать ее вот так близко, как сейчас. Вспомнил он и предостерегающие советы доброхотов: держаться от этого подальше. И он решил благоразумно убраться с площади.

Но в этот момент на площадь хлынули конные и пешие стрельцы. При виде их холопы и ярыжки⁴ смешались в кучу. Она закрутилась водоворотом коней и людей, затем рассыпалась по кремлевским подворьям и переулкам, точно порывом ветра смахнуло жухлую осеннюю листву.

Мимо Пущина, припав к гриве коня, пронесся холоп с развевающейся копной светлых волос и, походя, играючи, ожёг его по лицу плеткой.

От неожиданности Иван растерялся, но тут же взметнувшаяся злоба толкнула его вслед за наглецом. Он ринулся за ним, повернул за угол приказного здания и оказался в знакомом дворе.

А там, в дальнем углу двора, к коновязям один за другим подлетали и ловко скатывались на землю холопы. И среди них был тот самый...

Иван сжал кулаки и бросился к коновязям.

Холоп обернулся в его сторону, узнал и на мгновение растерялся. Затем он решительно двинулся навстречу ему. За ним последовали его дружки. Видя, что он один, они заранее горячились от предвкушения потехи.

Злоба ослепила Ивана. Он не успел ничего сообразить, как был опрокинут на землю. Над ним кто-то тяжело засопел и крикнул: тупая боль обожгла ему грудь, перед глазами полыхнули красные круги, и он провалился в темноту...

Очнувшись он не скоро, с трудом приподнялся и сел. Придерживаясь руками за какой-то забор, он встал на ноги и осмотрелся: узнал двор князя Мстиславского...

«Вот паскуды!» – мелькнуло у него, когда он сообразил, куда его затащили холопы.

Острая боль пронзила виски и отдалась во всем теле. Он поморщился, ощупал лицо, понял, что его здорово избили. Он выбрался из канавы на мостовую и снова увидел колокольню Ивана Великого. Та плыла все также в поднебесье и блестела позолотой, равнодушная ко всему в мире и к тому, что вот только что произошло с ним, с Иваном.

И он с чего-то обозлился на Москву, на ее скандальных и жадных жителей и на эту золоченую колокольню, вселенским пупком торчавшую посреди деревянных кремлевских изб и вонючих дворовых пристроек, разбросанных вперемежку с конюшнями и теремами. Обозлился он и на усохшую зелень огородов, опоясанных сточными канавами, в одной из которых он только что валялся, брошенный туда, как паршивый пёс, московскими холопами.

Он заскрипел зубами и замотал головой. Рукавом кафтана он вытер заслезившиеся глаза и медленными шажками побрел к колокольне. Выйдя на площадь, он обогнул обширную усадьбу, бывшую совсем недавно за боярином Никитой Годуновым, родным дядькой царя Бориса, и поплелся вниз, к Троицким воротам.

⁴ Ярыжник (ерыга) – пьяница, шатун, мошенник, беспутный.

У Кутафьей башни, за подъемным мостом, он свернул направо и спустился на берег Неглинки. Став на раскоряку, он попробовал было дотянуться до воды. С первого раза это не удалось. Он усмехнулся, подумав, что сейчас стал похож на Дарью, жену. Та, когда была беременна, с большим животом, обычно теряла устойчивость и приобретала ее по-новому, фигуристо изгибалась для баланса.

Он присел на сырые, почерневшие от времени сваи, нагнулся и зачерпнул ладошкой воды. В боку что-то резко кольнуло и тут же отпустило.

Он умылся, почистил кафтан, приободрился, подвигал плечами, чувствуя, как с каждым мгновением возвращаются силы.

Отдохнув, он выбрался назад на мостовую и пошел по Никитской.

Стоял теплый осенний вечер. Было сухо и по особенному тоскливо, как обычно бывает в большом городе сельскому жителю, каким он и был по натуре. Он родился и вырос в селе. Сначала это была крохотная вотчинка его родителей. Потом она приросла небольшим помещением: временный дар за крепкую службу его отцу, мелкому служилому, не поднявшемуся выше сотника, как и он в нынешнюю пору. Здесь же, в большом и падком на все заморское городе, на бревенчатых мостовых которого, не ровен час, можно было и покалечиться, особенно по пьяному делу, осень выглядела совсем по-иному. И от этого, и гадкого состояния на душе сердце у него стиснула боль, и он ускорил шаг.

На постоянный двор он притащился поздно, когда уже все сургутские были в сборе.

Тренька сидел с казаками за столом, пил бражку и о чем-то оживленно болтал с ними. Увидев его, он разинул от удивления рот, икнул и громко загоготал: «Га-га-га!.. Вы только гляньте на него, казаки, а!.. Гы-гы-гы! Вот это я понимаю! Хо-хо-хо! Как отделали-то!»

Иван бросил на него равнодушный взгляд, грубо толкнул в бок казака: «Подвинься», – и сел на лавку. Взяв из миски пирог с капустой, он стал медленно жевать его, осторожно вворачивая челюстью, как старый беззубый пёс.

– Я же говорил тебе, это не Сургут, – сказал Тренька, успокаиваясь и с интересом разглядывая его разукрашенную физиономию. – Вишь, как накустыляли!.. Скажи, слава богу, не порешили. Не то мы сейчас вместо этого, – стукнул он пальцем по кляге с бражкой, – поминальную глушили бы. Ха-ха-ха! Ну и мастак же ты, встревать в разные канительки! Где это тебя так? И кто тот молодец, что отдул самого сотника! Грозу остяков и вогулов! А, Иван?.. Это тебе не киштымы! Хо-хо-хо! И не аманатов драть за косы!⁵

– Ладно, будет тебе. Налей-ка лучше, – показал Иван на кружку.

Тренька налил ему. Он выпил. От выпитой бражки сразу исчезли усталость и боль. Внутри у него словно что-то оттаяло. Стало легко, и ушла неприязнь к шумному городу, с его кабаками, ярыжными, наглыми холопами и боярскими сынами, кичливыми, хотя и влачившими полуголодную жизнь в осажденном городе.

«Что за город? – вяло подумал он. – Воры, грабители, сводники... Шиши⁶, и те в городе. То появляются, то куда-то исчезают, нутром чуя добычливые места»...

* * *

Прошло два месяца. Наступил декабрь. На все тот же двор московских приказов из приказного здания вышли трое служилых. Одеждой, грубыми обветренными лицами и свободной размашистой походкой они разительно отличались от массы ловко снующих вокруг

⁵ Кляга – баклага, фляга, плоский бочонок; аманат – заложник; киштымы (кыштымы) – феодально-зависимые люди, платившие дань феодальным князькам, обычно другой народности.

⁶ Шишь – лазутчик, соглядатай и переносчик; разбойник.

мелких приказных людишек. И здесь, на дворе, они остановились, словно для раздумий, что делать дальше.

Двое из них были наши старые знакомые, Иван Пуцин и Тренька Деев.

Тренька оскалился, широко развел в стороны руки и шумно вздохнул:

– Ух, ты-ы! А хорошо-то здесь!.. Как же они, окаянные, проводят там всю жизнь? В этих чертовых палатах! Так и помереть недолго!

Он толкнул плечом стоявшего рядом высокого блондина, третьего их спутника, с чертами лица, наводящими на мысль о нем, как о выходе из западных мест, откуда-то из-за Смоленска.

– А, Андрюха?

– Не мрут – как видишь.

– Только плодятся, – сказал Пуцин так, будто расстраивался из-за того, что московские приказы разбухли подьячими.

– Ну, тебе-то, Иван, грех жаловаться на приказных, – пожурил Тренька его.

– Тебе тоже, – добродушно проворчал Пуцин. – Это же надо – Тренька вышел в атаманы! Нам бы того, – сделал он красноречивый жест, показав, что не прочь был бы выпить. – Сё дело божье. Не так ли, Андрюха? – обернулся он к блондину и уставился на его длинный прямой нос, так и притягивающий взгляд своей изящной формой.

Андрюшка молча согласно кивнул головой.

– Ну что, служилые! Теперь домой, в Сургут, а? – спросил Тренька приятелей.

Пуцин, ничего не ответив ему, обвел взглядом приказной двор.

Приезжая сюда, в Москву, он первым делом приходил на этот двор: по делам службы. И место это было для него самым памятным, знакомым до мелочей. За многие годы этот двор вроде бы не изменился. И все же он каждый раз, как Иван появлялся в Москве, казался ему новым, необычным. Может быть, причиной тому была пестрая московская жизнь. Она сразу захватывала и не оставляла ни минуты свободного времени. Потом же, далеко в Сибири, когда он вспоминал Москву, то у него в памяти, прежде всего, всплывал этот двор, а в ушах звучал, голосом басовитого дьякона, колокол Ивана Великого.

За спиной сургутских хлопнула дверь, и во двор, громко ругаясь, вышли два человека.

– Поразорили поместье, сучьи дети! – визгливо выкрикнул полный мужчина в собольей шубе, все еще, по-видимому, не остыв от перебранки с дьяками. – Я же говорю ему: то ж мои людишки!..

– Дал бы подьячему, так сыск взвел бы того же часу, – удивленно развел руками его спутник. – Скуп ты стал, Гаврило Григорьевич, скуп! И попомни, не только дьякам, но и мне не покажешь милости, впредь за тебя докучник не буду.

– Ладно, ладно, Семен Лукич, сочтемся, – миролюбиво сказал Гаврило Григорьевич, затем вдруг резко повернулся в сторону коновязей, где кучно стояли холопы, и зычно крикнул: «Назарка, пёс!»

На сердитый окрик оттуда к нему бросился статный парень в овчинном зипуне с фасонистым воротником. Пробегая мимо сургутских, он метнул на них взгляд темных глаз, и в них мгновенно высветился характер сытого и наглого малого.

Иван узнал сразу же его. Кровь ударила ему в голову, и он невольно присел от слабости в ногах. Этого холопа он запомнил на всю жизнь и узнал бы из тысячи. От того столкновения с ним, вот в этом самом дворе два месяца назад, в первый день его приезда в столицу, у него навсегда осталась заметка в виде длинного шрама над бровью.

Холоп проскочил мимо служилых, подбежал к хозяину, вытянулся перед ним, дохнул морозным парком: «Слушаю, Гаврило Григорьевич!»

– Ах, ты – слушать! Коня подавай, паршивец! – выругался тот, срывая на нем раздражение от посещения приказных палат. – Что стал – как дурная девка! Коня – тебе говорят!

Напуганный непонятным гневом хозяина, Назарка сорвался с места и кинулся назад, не видя от страха ничего вокруг. Холопы у коновязей встретили его насмешками. Один поставил ему подножку, а другой толкнул в бок. Назарка ловко увернулся, двинул в ответ кого-то кулаком по зубам, подскочил к игренцу и лихо взлетел ему на спину.

«А красив – проказник!» – невольно мелькнула у Треньки завистливая мысль.

Коротконогий и мешковатый он за всю свою жизнь так и не научился ездить верхом на коне. Не то чтобы совсем, а вот так – по-молодецки, как этот холоп. И его съедало страстное желание, хоть когда-нибудь складно покрасоваться в седле. Эта его слабость была известна в Сургуте всем, и служилые посмеивались над ним. Но пронять его было не так-то просто.

«Сосунок!» – мелькнуло у Пущина, когда он разглядел холопа.

И ему стало еще обидней от мысли, что его избил какой-то щенок.

– Это же тот, скотина! – тихо процедил он сквозь зубы, глянув в сторону коновязей, откуда уже мчались сани к подъезду приказного здания, а впереди на красивом игренце пружинисто покачивался Назарка.

– То ж боярский холоп! – испуганно обернулся Тренька в сторону подъезда, где в шубе и высокой горлатке, неповоротливый и величественный, как соляной столб, стоял сокольничий Гаврило Григорьевич Пушкин.

Пущин шагнул было вперед, чтобы загородить дорогу саням и ухватить рукой под уздцы жеребца.

Но его одернул атаман: «Тише, Иван! Остынь, не рвись на батоги!»

Пущин выдернул шубу из рук атамана и оттолкнул его.

– Отстань! Я не девка, не хватай за подол!

– Иван, Иван, не дури! – схватил Тренька его за руки. – Андрюха, да помоги же ты...! – выругался он, загородив Пущину дорогу. – Одумайся, чумовой! До дому же пора! Ну ее, эту Москву, к бычьим потрохам! Здесь того и гляди: то ли ножом пырнут в кабаке, то ли на Пыточном зубы выбьют!

Пущин крутанулся, стараясь вырваться от него. Но Тренька, наседая на него и пытаясь удержать, обхватил его сзади за плечи. Пущин дернулся, но руки атамана сковали его наглухо, как замком. Под кафтаном у него хрустнула свернутая трубочкой грамота, и это сразу же отрезвило его.

– Пусти, – спокойно буркнул он. – Да пусти же, тебе говорят! Не трясись, бузило!.. Грамоты подавишь, старый пёс! – грубо, с нежностью в голосе, ругнулся он на атамана.

– Да хрен с тобой, делай что хочешь! – обозлился тот на него, разжал руки и отступил назад.

Иван поправил смятый кафтан, чувствуя под рукой грамоту, которую спрятал вместе с годовым жалованием в кожаный мешочек, висевший у него на шее под рубахой.

А та грамота была, пожалуй, важнее оклада. Наконец-то он получил долгожданное государственное разрешение на службу в Томск, куда задумал перебраться с семьей. Написанное же в грамоте он помнил слово в слово, так как был внимателен, в роду это у них. Бывало, прочтет что-нибудь, и все словно отпечатается в голове.

Государевой грамотой на день Зачатия святой Анны, бабий праздник, как говорили в ту пору, т. е. 9 декабря 1609 года с Рождества Христова, с Москвы были отпущены служилые люди: сургутского города боярский сын Иван Пущин, литвин⁷ Андрюшка Иванов, казак Петрушка Павлов, да стрелец Михалко Лукьянов. Сургутским воеводам, Федору Васильевичу Волинскому да Ивану Владимировичу Благому, грамотой было велено тотчас же, не издержав, как только служилые приедут, отпустить незамедлительно Ивана Пущина и

⁷ Боярский сын – представитель низшего разряда служилых «по отчеству», т. е. по происхождению, людей. Литвин – служилый, записанный в «литовскую сотню»; такие сотни составлялись обычно из взятых на войне в плен воинов.

Андрюшку Иванова, со всеми их животами⁸, к новому месту службы: в Томск, самый отдаленный и пограничный город Московского государства. И велено было в Томске служить Пушину сотником у стрельцов, а Андрюшке быть конным казаком. Казаку же Петрушке Павлову и стрельцу Михалке Лукьянову было велено государствену службу служить в Сургуте по-прежнему, по их старым окладам.

Этой осенью в Москве сургутских оказалось не мало. Одни приехали с посылками – ясаком⁹, другие с челобитными и отписками. На Москву всегда ехали охотно, так как знали, что заодно получат сполна оклады, причитающиеся за прошлые годы службы.

Стрелецкий пятидесятник Тренька Деев в этом году пошел в гору. Здесь на Москве он получил новое назначение – в атаманы «литвы и черкас». И хотя станица их в Сургуте была невелика, всего двадцать восемь человек, однако по новой должности Треньке причитался и новый оклад, и весьма немалый. За прошлый год он получил, как пятидесятник, шесть рублей без чети¹⁰. Получил и новый годовой оклад атамана в восемь рублей. Остальное, по государственной грамоте, восемь четей муки, одну четь крупы и одну четь толокна, приказано было воеводам выплачивать ему на месте – в Сургуте. О чем было отписано в грамоте, которую он вез тоже с собой и дорожил ей не меньше, чем Пушин своей.

* * *

С Москвы сургутские выехали длинным обозом саней, груженных дорожными припасами и товарами, закупленными для дома по лавкам на столичных базарах. Ночью они обошли проселками наезженную польскими разъездами, из Тушинского стана второго Лжедмитрия, дорогу на Дмитров, выбрались на Волгу и по зимнику, больше не таясь, покатали на Калязин. Оттуда, все так же по зимнику, они добрались до Ярославля, а дальше двинулись прямо на север – на Вологду. С Вологды же начинался знакомый промышленным и служилым людишкам торный путь в далекую Сибирь.

За неделю они добрались до Сухоны. Затем через Тотьму до Великого Устюга, и по северной Двине, по не разоренным смутой ямам, в сопровождении ямских охотников, обоз двинулся на Соль-Вычегодск. И запетляла укатанная зимняя дорога по закованной в ледяной панцырь Вычегде, среди густых темных пихтовых лесов, до самого устья Сысолы. В устье Сысолы зимник повернул на юг и, все так же, по реке, пошел на Кай-городок.

Темно зимой в приполярье: темно в тайге, темно на реке, темно ночью, утром и вечером. Только в середине дня природа чуть-чуть разлепит сонные очи, взглянет вокруг мутным взором и снова погружается в долгую зимнюю спячку.

Санный обоз, поскрипывая полозьями, медленно тащился по зимнику. На передках саней металась огни факелов, высвечивая маленькие согбенные фигурки людей. Изредка покрикивали возницы, погоня лошадей, да из тайги доносилось сухое потрескивание деревьев, схваченных лютым морозом.

Пушин очнулся от дремоты, почувствовав, как от долгого неподвижного сидения совсем одеревенели ноги. Он вывалился из саней, вскочил и побежал рядом с ними, чтобы размяться. Согревшись, он остановился, пропустил пару вожов, с ходу завалился в сани к атаману и придавил его всем телом.

Тренька ворохнулся, легко стряхнул его с себя, и чуть было не выбросил из саней.

⁸ Живот – все виды движимого имущества, все, что нажито.

⁹ Ясак – подать (преимущественно пушнина) с не русского населения.

¹⁰ В денежном исчислении четь, сокращенное – четверть рубля. В то же время имела хождение четверть (четь) – старинная мера веса сыпучих тел. В XVII веке четь была наиболее крупной мерой хлеба. Четь делилась, по системе двух, на 2 осьмины, 4 полуосьмины, 8 четвериков, 16 полчетвериков и т. д. Кроме того, четь делилась по системе трех – на 3 трети, 6 полтретей, 12 пол-полтретей и т. д. С 1555 по 1624 год использовалась четь в 4 пуда.

– Ну, ты, чудило, задавишь!

– Тебя-то?!

– Испугал, ошалелый!.. Я уж подумал: не матерый ли!

– Они подались на юг. Там раздольно... Испортятся, вот тогда уж залютуют. А сейчас по здешним местам тихо.

– Зачем тогда ямские палят огонь?

– Так веселей... Привык народ. Привычка дорогу коротит и натуру прямит.

– Завтра, почитай, до Кай-городка доберемся! А, Иван?

– У ямского спроси, он верней скажет...

Заметив неразговорчивость приятеля, Тренька уткнулся в шубу и тоже замолчал. По натуре он был балагур и весельчак. Однако в дороге он чаще отсыпался под убаюкивающее пофыркивание лошадей. И обычно, перед тем как тронуться с ямской заставы, он плотно наедался, заваливался в сани, глубоко укутывался в шубу и отдавался во власть сонной одури и ямских проводников.

– Послушай, Тренька, а ты через Обдоры ездил?¹¹ – высунул Пушин из шубы нос и толкнул в бок атамана.

– Да, бывало.

– Как там?

– Таможня, что ли?

– Да.

– Туда, что Обдоры, что Тура – все едино.

– А оттуда?

– Засекут – враз! На Обдорах люто... А у тебя что – заповедный¹²?

– Да нет, я так. А девку, аль пацана выпустят?

– Это полегче. Досматривают, но не так. Кому надо везут. И туда, и сюда. Да тебе-то что? Ты же в Томской. И теперь на всю жизнь... Там, говорят, места добрые, а?

– Хороши, пашенны...

– Да-а, повезло тебе, сотник!

Они замолчали, думая каждый о своем и прислушиваясь к тишине хмурой и мрачной северной урёмы, все выплывающей и выплывающей навстречу им за каждым поворотом реки...

К концу Рождества обоз добрался до Бабиновской дороги. Хорошо укатанная, с широкими вырубками и исправными мостами, эта дорога сначала шла в верховья Яйвы. Затем она перевалила на Косьву, к устью Тулунока, проходила вдоль ее северного берега и выходила на Кырью. Там начинался длинный подъем на Павдинский камень.

Скинув тулуп, Пушин размеренно шагнул на этот затяжной подъем рядом с рыжей кобылкой, ведя ее на поводу. Он, как и она, упарился и шумно дышал, хватая открытым ртом разряженный стылый воздух.

Впереди и позади него также шли за санями ездовые и лихо покрикивали на лошадей.

– Хо-хо! А ну, Кавурик, Кавурик!..

– Давай, давай!..

– Тяни, тяни, мать твою!..

На верху перевала он остановился передохнуть и подождать Треньку: тот поднимался вслед за ним со своими возами.

¹¹ В то время в Сибирь ходили двумя путями, разумеется, только по рекам, единственное сообщение на большие расстояния: северным, через Обдоры, т. е. Березовский городок, и южным, через Кай-городок, по Каме, через Павдинский камень на Урале, Верхотурье, по реке Тура, до реки Тобол и далее, т. е. так, как описано в этом романе.

¹² Заповедный товар – запрещенный законом, недозволенный к провозу и продаже, например, оружие; соболиная пушнина тоже, если не была взята таможенная пошлина.

– Ух, ты! Ну, кажется, все! – тяжело сопя, облегченно выдохнул атаман, подходя к нему. Из-под сплошной снеговой шапки на голове у него торчала заиндевевшая курчавая борода и большой, побелевший от натуги нос с едва заметной горбинкой. Ему, коротконотому и грудастому, по природе не ходуку, такие пешие переходы давались тяжелее, чем другим.

– Впереди спуск! – сочувственно заглянул Пуцин в темные влажные от усталости глаза атамана.

– А что спуск? Это не в гору! – хмыкнул Тренька.

– Да опасливей будет... Здесь катун, знаешь какой!

– Ничего, задом тормознем, пронесет.

– Потаены береги: каженик Авдотье без надобности! Ха-ха-ха! – засмеялся Пуцин.

– Э-э, дурень, что зубы скалишь! – отмахнулся Тренька. – Давай, двигай, до стану недалеко!

Сзади, напирая на них возами, загалдели казаки. Всем не терпелось скорее добраться до стана на Павде. Он был где-то там, внизу. Отсюда же, с высоты перевала, он не проглядывался, закрытый сплошным морем черного леса с редкими белыми прогалинами, похожими на дыры в кафтане нищего.

Пуцин, крепко натянув повод, осторожно двинулся на спуск рядом с кобылкой, с опаской поглядывая, как она, выбившись на подъеме из сил, с трудом удерживает груженные сани. Но все равно он не досмотрел за ней: на середине спуска у кобылки подсеклись передние ноги. Он же, попытавшись помочь ей, с силой потянул на себя повод и этим лишь запрокинул ей назад голову. На нее накатили сани, сшибли и увлекли вниз. Сильный рывок вырвал у него из рук повод, он не удержался на ногах, полетел вперед и зарылся с головой в глубокий сугроб.

Передний воз Пуцина, пронзительно заскрипев, покатился по крутой обледенелой дороге вниз, беспорядочно скручиваясь, сшибая и ломая все на своем пути.

Когда Иван выбрался на дорогу, внизу, около разбитых возов, уже копошились мужики, освобождая из постромков покалеченных лошадей.

– Ну ты и слабак! – накинулся на него Тренька. – Глянь, сколько лошадей изувечил!

– Ладно тебе, атаман! – вступился ямской проводник за сотника. – Его вина тут мала. Кобылка стара уж... А ну, мужики, тягай их за лодыжки на обочину! После приеду, заберу...

Обозники посудачили об опасностях этого перевала, затем расчистили дорогу и двинулись дальше, к Павдинскому стану.

А вот и он сам. На высоком берегу Павды стояла большая, рубленая в охряпку изба. Рядом с ней громоздился сарай с сеновалом и стайка. Поодаль, на берегу реки, из-под сугробов торчала крыша бани. Над избой тоненькой струйкой поднимался вверх дым. В морозном воздухе остро пахло хлебом, щами и навозом. Крохотный ямской стан, затерявшийся в тайге, сулил теплый и сытый ночлег.

И путники, при виде его, сразу оживились, как будто у них и не было позади тяжелого перехода через Павдинский камень.

– Эй, есть тут кто-нибудь! – гаркнул Тренька, не по виду ловко вываливаясь из саней на снег. – Принимай гостей, хозяин!

– Лиха на тебе нет, мил человек, – ворча, выполз из избы мужик с всклокоченной бородой.

Грязный от копоти и жира, в старых катанках и дырявом однорядном зипунишке, прожженном на спине, в теплых, по-стариковски обвисших штанах, он был похож на обычного деревенского деда. В пустых же светло-голубых его глазах застыла ранняя скука и равнодушные к жизни.

– Принимай, принимай, дед! – подошел к нему Пуцин. – Чай, затосковал без людей-то?

– Тю! Какой я тебе дед?.. Сорок годков еще не жил. А на сие место токмо едина тоска будет – кабы от пришлого люду упасу найти.

Подошел проводник, за ним казаки и мужики: «Устраивай, дед!»...

– Ты что, как малой? Занимай что хошь – сё государев двор!

– Иван, бери припасы и айда за мной! – подтолкнул Тренька в спину Пущина. – Забивай места в рубленке, покуда казачки не набились!

В просторной избе было пусто и холодно. Вдоль глухой стены сплошным длинным рядом были настланы широкие нары. У маленького оконца, заволоченного тусклым бычьим пузырем, кособочился на чурбаках стол, к нему приткнулись такие же кособокие лавки. В переднем углу виднелись закопченные образа с потухшей лампадкой и висели черные от сажи рушники.

Вслед за атаманом и сотником в избу шумно хлынули обозники, подняли в ней суету.

Тренька ловко растолкал казаков, покидал на нары свои узлы и пихнул в спину замешкавшегося Пущина.

– Не лупись – на полу спать будешь!

Он выхватил у него из рук мешок и бросил его рядом со своими пожитками.

– Вот теперь ладушки!

В избу заглянул ямской проводник, обвел недовольным взглядом забитые до отказа нары.

– Казаки, подводы надо поставить и лошадей пораспрягать. Они пристали не меньше нашего...

– Идем, идем! – откликнулся Пущин и стал натягивать на себя опять шубу.

– Поставь и моих, – попросил его Тренька, деловито копаясь на нарах. – А я здесь пока устрою. Не то, кабы, не занял кто.

– Добро, – буркнул Пущин и вышел вслед за проводником во двор стана.

В избе скоро все разобрались с местами, поели и улеглись по нарам.

– Эй, ямской!

– Чего тебе?

– По Чусовой-то ближе будет, аль нет?.. Эй, ямской! – позевывая, спросил Тренька проводника, широко раскинувшись на мягком тулупе.

В жарко натопленной избе было душно и тесно от кучно, вповалку лежавших людей. Давала себя знать усталость, но вонь и клопы мешали заснуть.

– Ты что, ямской? Слышь, аль нет!

– По летнему пути может и ходче, – нехотя отозвался из темноты проводник, по-вологодски окая. – Токмо на Чусовой яму нет...

– Да там же Строгановы, – подал голос Андрюшка. – Чего лучше для яму?

Тренька не удержался, захохотал, сразу разогнав остатки сна. За ним загоготали казаки и мужики.

– Строгановы подвод не дают, – сказал Пущин «литвину», – а летом – гребцов.

Андрюшка нравился ему, нравилась в нем та обстоятельность мысли и дела, которые он подмечал у ссыльных крестьян и посадских из порубежных литовских земель. И она, эта обстоятельность, на первый взгляд, походила на глупость, вызывала порой усмешку. В этой их недалекости, однако, как подметил Иван, проглядывала мудрость неторопливой природы, выносившей молчаливый приговор всем суетливым честолубцам.

– Не выгодно яму быть.

– Вот – жила, – лениво процедил Тренька. – Князьком живет...

– Именитый, – съехидничал Пущин; ему тоже не нравился богатый хозяин Чусовой.

– А за что именитость?! – почему-то распаляясь на солепромышленника, крикнул Тренька. – Повезло!.. Попался на пути Тимофеичу, да со страха и спровадил его за Камень! Отделался! Решил, пускай там кладут казаки свои головушки! Снарядил, запасу дал, зелья

под вогняной бой: только иди с Чусовой! А Тимофеич возьми и повоюй царство Сибирское!.. Повезло Строгановым: за дело Тимофеича грамотки получили, жалованные, от государя! Ан, он же, государь-то, травил Тимофеича воеводами!..

– Ну, ты это брось! Про государя-то такие речи! – одернул Пущин приятеля. – Не ведаешь, что за сие бывает?!

– Добре, добре, Иван! – дружелюбно отозвался Тренька, зная, что он не выдаст, не донесет воеводам про эти их разговоры.

– Грозный величал Тимофеича князем! – парировал Пущин.

– Это когда было-то? – пробурчал Тренька. – После, как он согнал Кучума!

– Государь зря не жалуется! Строгановы именитость получили за великие расходы! И нечего об этом говорить более! – твердо сказал Пущин.

Он вообще умилился Тренькиной бесхребетностью. Еще недавно тот крестил на чем свет стоит Ермака, когда ходил стрелецким пятидесятником. А сейчас, получив атаманство, встал за него горой. Вот что тут подделаешь!..

Казаки и мужики притихли, настороженно прислушиваясь к их перебранке. Такие речи они слышали не часто. Они будоражили их, вызывая неосознанное чувство страха перед властью государя.

– Спать пора, – прервал их проводник. – Дорога завтра далеча.

Разговоры в становой избе иссякли.

Какое-то время из угла, где устроился Тренька, еще слышалось невнятное бормотание: «Именитые... Тоже мне... Острожков понастроили... Вольность дали! Промашка то, государь...»

Но и оно вскоре сменилось переливами здорового храпа.

Рядом с избой, в темном холодном сарае, мерно хрустели сеном лошади. Вокруг стана теснились высокие ели, было тихо и морозно. Крохотный ямской стан, занесенный сугробами, погрузился в сонное молчание долгой северной зимней ночи.

Рано утром, еще до рассвета, обоз двинулся дальше.

В безветренной и стылой тайге далеко окрест разносится ритмичный скрип саней и громкие голоса ездовых. Обоз сургутских потащился длинной вереницей саней сначала вдоль левого берега Ляли. Не доходя устья Разсохи, он повернул на речку Мостовую.

Здесь, как обычно, остановились, сделали привал, напоили и подкормили лошадей.

– Туда пошла Тура, – показал проводник на восток. – А нам на Калачик. Там недалече и городок.

– Летом здесь дорога, похоже, пропащая? – спросил Тренька его.

– Да-а, грязна, – согласился тот. – По Туре трижды возятся и дважды бродят. Осенью лошадей плавят, так сильно зябнут... Однако скорее надо бы: к стану до Кичигов¹³ дойти бы.

Под заснеженными шапками елей снова послышался ритмичный скрип саней, глухой стук копыт. И над обозом, кудрявясь, повис легкий парок, вырываясь из заиндевелых ноздрей уставших лошадей.

Саный обоз пересек речку Калачик, и ямские охотники погнали лошадей, чтобы засветло добраться до жилья.

За долгую дорогу Тренька отоспался и, мучаясь от скуки, залез было в сани к Пущину. Но угрюмый вид того нагнал на него еще большую тоску, и он перебрался к Андрюшке, чтобы там почесать язык.

¹³ Кичига – кочерга, клюка. Кичиги – простонародное название созвездия Ориона. Зимой время узнавали по Кичигам: три звезды вместе, одна за одной наискось, они так строем и ходят; зимой часов в десять взойдут, поднимаются высоко – полночь, если опускаются – дело идет к утру.

Разговоры с «литвином» всегда щекотали нервы атаману от острого ощущения недозволенного, когда словно ходишь по краю обрыва, зная, что туда можно и свалиться. На его удивление литвин свободно говорил о том, чего тот же сотник избегал касаться, а если говорил, то как будто рубил топором: раз и отсек. От этого с Пушиным было невыносимо тошно. В санях же у Андрюшки он находил понимание, и оттуда порой слышался его громкий голос, срывающийся на крик. А кричал он на того же Андрюшку. Чаше же там подолгу стояла тишина: они о чем-то доверительно судачили, понизив голоса.

В молодости Андрюшка много повидал: был у донских казаков, затем его занесло в Запорожи, в ватагу Северина Наливайко. Когда же того разбил гетман Жолкевский, Андрюшка бежал под Смоленск, но там попал в плен к москвитам, «в языках», и был выслан в Сибирь. Сначала он попал на поселение в Тобольск. Потом, как не пожелавшего принять православие, его перевели в Сургут, поверстали в конные казаки. Многие его друзья по несчастью, из «литвы и черкас», во времена Годунова вышли в боярские дети. Некоторых, кому повезло, оставили служить в подмосковных городках.

– Ну и дурень же ты, Андрюха, – сказал Тренька. – Ходил бы сейчас в сынах боярских. Это же 25 алтын¹⁴ в разницу. Разумеешь, ядрена мать? Коли бы в десятники вышел, аль в атаманы, это же восемь рублей. Вон сколько стоит твоя матка бозка! – засмеялся он.

– Давай, иди отсюда – выкидывайся! – рассердился Андрюшка. – Влез в чужие сани и дуришь!

– Ну-ну, не буду! – миролюбиво сказал Тренька; ему ужасно не хотелось сидеть одному в холодных санях. – Знаешь сколько положили вашему Мартыну Боржевинскому, тому, что в Томской свели?

Андрюшка тяжело вздохнул, с сожалением посмотрел на него.

– Десять рублей! – поднял атаман вверх палец. – Чуешь? У меня же только восемь и шесть алтын, – с обидой в голосе добавил он.

Затем, не в состоянии долго думать об одном и том же, он засмеялся и толкнул в бок «литвина»:

– Ладно, Андрюха, споем! Что мы делим-то не свое!

Андрюшка пел охотно. Его не надо было упрашивать. Он откашлялся и затянул сначала тихо, потом все громче и громче. Набирая силу, над санями понеслась песня: «Во-первых-то санях атаманы сами! Во-вторых-то санях ясаулы сами!»

Тренька поддержал его, залихватски подсвистывая после каждого куплета.

– А в четвертых-то санях разбойники сами! А в пятых-то санях мошенники сами!

По всему обозу подхватили, и над заснеженной тайгой грянула по-кабацки безоглядная песня: «А в шестых-то санях Гришка с Маришкой!..»

Отзвенеv, она внезапно оборвалась. Как будто слабая пташка из дальних теплых краев, на минуту выпущенная из клетки, она потрепетала на яром сибирском морозе и снова заби-лась под теплые шубы служилых. И там, свернувшись под сердцем, она затихла, чтобы дожидаться своего очередного часа.

Но разошедшегося Андрюшку уже было не остановить.

– Гамалая по Скутаре по пеклу гуляе, сам хурдыгу разбивае, кайданы ломает: вылетайте, серы птахи, на базар до паю!

– Эй, Иван, слушай, это для тебя! – крикнул Тренька Пушину, подпевая Андрюшке: «На гору конь упирается, под гору конь разбегается, эй, эй! О калину расшибается!..»

Казаки и стрельцы громко захохотали. По тайге понеслось гулкое эхо: «Хо-хо-хо!»

– Стой! Тпр-рр! – вдруг закричал проводник, придерживая бег санного обоза перед замаячившей вдали крохотной деревушкой.

¹⁴ Алтын – денежная единица, равная 6 деньгам или 3 копейкам.

- Эй, ямской, чо там?
- Чо, чо!.. Ничо!
- Мужики, мать вашу, чо там?.. Волки!
- Эка невидаль!

Впереди на дороге, в ранних зимних сумерках, виднелось что-то бесформенное, темное.

Присматриваясь, проводник подъехал ближе и увидел мужика; тот стоял как-то странно – на карачках...

«Пьян, что ли?» – подумал было он, но вспомнил, что сейчас крещение и мужик гадает на урожай, приободрился и задорно закричал: «Эй, поберегись!»

Мужик резво вскочил, отпрыгнул в сторону и увяз в глубоком сугробе.

А мимо него вереницей понеслись сани, и путники, разгоняя кровь, завеселились.

- Штаны держи! – гаркнул Тренька.
- На хлебушек! – крикнул Пущин и бросил мужику охапку сена.
- Вот тебе и урожай!..
- Давай, давай, казаки!..

Деревушка мелькнула и осталась позади...

К Верхотурью они подъезжали уже поздно вечером.

Сначала показалось что-то темное, массивное и бесформенное. И это темное стало подниматься вверх, наползать на сумеречное вечернее небо, загораживать путникам горизонт...

Затем верхушка этой массы ошетичилась деревянной стеной, обозначились острожные наугольные башни, редкие острые пики елей.

А вон приземистые, букашками, едва различимые в темноте избенки...

«От царя и великого князя Федора Ивановича государя всея Руси в Пермь Великую, в Чердынь, Василию Петровичу Головину, да Ивану Васильевичу Воейкову. В нынешнем во 106-м году, октября в 3 день писал к нам из Перми Сарыч Шестаков, да прислал городовому и острожному делу роспись городище Неромкуру, а в росписи написано: от реки от Туры по берегу крутово камени-горы от воды вверх высотой сажень 12 и больша, а саженьми не меряно, а та гора крута, утес, и тово места по Туре по реке по самому берегу 60 сажень больших, и по смете де тому месту городовая стена ненадобе, потому что то место добре крепко, некоторыми делы взлести не мошно, и по их бы смете по тому месту городовая стена не надобе, потому что то место и без городовые стены всякова города крепче, разве б по тому месту велети хоромы поставить в ряд, что город же, да избы поделать, и дворы б поставить постенно; а по углам города от реки от Туры поставить наугольные башни. И как к вам ся наша грамота придет, и вы б того места от реки от Туры по берегу рассмотрели, сколь то место крепко и мочно ль быти по тому месту от реки от Туры без городовые стены. И только будет то место крепко, и городовая стена не надобе, и вы б зделали нового города три стены, а с четвертую сторону от реки от Туры велели поставить хоромы в стену воеводские или которые иные хоромы поставить пригодятся, которым быти в городе пригоже, только бы было постенно, да избы поделать; а городовые стены не ставили, велели бы есте от реки поставить наугольные башни для очищения с тех башен стен и за реку. Писана на Москве лета 7106-го году октября в 12 день. Подлинная за закрепою дьяка Ивана Вахрамеева».

Головин и Воейков заложили острог, поставили воеводский двор, съезжую избу, дворы служилым и попу, возвели церковку Живоначальной Троицы.

На следующий год их сменил воевода Иван Вяземский с головой Гаврилой Салмановым. Салманов же отгрохал гостиный двор, размахнулся на четыре избы и двадцать амба-

ров. Да не поскупился он: отстроил еще татарский двор – остоякам, вогулам и торговым, построил избу, амбар и конюшню, огородил и покрыл все навесом. Вслед за гостиным двором появился и государев кабак.

И уже через пять годков в остроге стало ужасно тесно. А занимал он всего лишь малую толику камня-горы. Оброс он по стенам и дворами посадских и пашенных крестьян. И они, остерегаясь набега инородцев, ударили челом государю, что-де быть бы им в остроге.

На это царица Мария Григорьевна, вдова Бориса Годунова, только-только что скончавшегося, и его малолетний сын, царь Федор Борисович, милостиво дали наказ с закрепой дьяка Казанского дворца Нечая Федорова.

И острог, по этой грамоте, расширили вдвое.

Возвращаясь с Москвы южным путем, служилые никогда не пропускали верхотурский кабак. Он был как сибирский порожек. Об него спотыкались все. И он всегда был переполнен промысловиками, купцами, служилыми и гулящими, искателями приключений. Их манили за Камень вольность, простор, загадочность и богатства только что открытой земли. Края же ее пока никто еще и не ведал.

В этом кабаке и Пушин прощался с московской землицей. По ту сторону Камня оставалась его родина. Хотя и Сибирь для него уже не была чужой. Он ехал к себе домой. Был Сургут, впереди маячил Томский острог...

«Лета 7112 марта 25 дня государь царь и великий князь Борис Федорович всея Руси велел быти голове Гавриле Ивановичу Писемскому да Василию Тыркову на своей государственной службе вверх по Оби реке на Томи в Томской волости, для того, что бил челом государю царю и великому князю Борису Федоровичу всея Руси из Сибири Томской волости Тоян князь, чтобы великому государю царю и великому князю Борису Федоровичу всея Руси его пожаловати, велети ему быти под его царскою высокою рукою и велети быти в вотчине его в Томи поставите город, а место де в Томи ужоже и пашенных де людей устроите мочно, а ясачных де людей у него триста человек, и как де город поставят и те его ясачные люди будут под государственной царской великой рукою, ясак учнут платить, а которые де и будут около того города государевы непослушники, и он Тоян учнет про них сказывати, приводить их под государеву царскую высокую руку. А до Чат де и будет от того города ходу десять день, а до киргизского до князька до Номчи семь день, а людей у него тысяча человек, а до другого князька до Биня до ближнего кочевья десять день, а до дальнего кочевья четыре недели, а людей у него десять тысяч человек, а до телеут дальнее кочевье пять дней, а князек в телеутах Беяк, а людей у него тысяча человек, а до умацкого князька до Читы дальнее кочевье четырнадцать день, а людей у него триста человек, а как де и в Томи город станет и тех де городков кочевья волости все будут под государственной царской высокой рукою и ясак с них имать мочно, а которые люди живут на томской де вершине восьми волостей, и те люди учнут в государеву казну давать ясак, да в томской же де вершине живут двести человек кузнецов, а делати доспехи и железа стрельные и котл выкавывают. А у них два князька, Босорок да Бейдара, а до мелесского до Исека князька от Томи десять день... А велено служилым людям дать им денежное и хлебное жалованье, отпустить в Сургут тотчас, а Гаврилу и Василию дожидаться в Сургуте из Тобольска, из Тюмени и из Березова, из Пелыми служилых людей и юртовских татар и березовских остояков, взять в Сургуте Федора Головина, сургутских служилых людей и сургутских остояков и хлебные запасы, которые посланы в Томской город на запас... А идти из Сургута Обью рекою в Томскую волость с великим береженьем и сторожи и караулы около себя расписать... И велели людям своим на городовое дело лес ронити и возити и город ставити... Лес ронити легкий, чтобы скорее город сделати и житницы на государевы запасы велети поставить... Поставить в городе храм во имя Живоначальной Троицы да придел страстотерпцы Христовы Бориса и Глеба, а другой Федора Стратилата...

Сибирские земли всякие люди, жили б в царском жалованье, в покое и в тишине без всякого сумления и промыслы всякими промыслили и государю и пр. служили и прямили во всем... А в которых людях начнет шатость и воровства, и они бы воров не укрывали и не таили... А кто на кого скажет какое воровство изменя, и сыщется до пряма, а государь тех людей велел пожаловать своим царским жалованьем и животы их и вотчины подать им, кто на кого какую измену и воровство доведет объявля... А которые волости и городки подошли к Томскому городу ближе Сургутского города и Нарымского и Кетских острогов, и волости и городки и в них князьков и мурз и остяков велеть переписать и в дань их с судом и управою и ясаком в новом Томском городе и ясачные книги тем всем волостям для справки взято в Сургут... А как город поставят... и велеть отписку и чертеж отдати в Казанской и Мещерской дворцы дьяку Нечаю Федорову»...

Орудя плечами, Тренька пробрался в дальний угол переполненного кабака. За ним протиснулись сотник и «литвин», совсем как в ледоход за белозёркой утлые шитики.

Атаман плюхнулся за стол рядом с двумя какими-то казаками.

– А ну потеснись, дай место!.. Эй, куриная башка, налей по чарке! – зычно гаркнул он целовальнику, перекрывая шум кабака.

Целовальник махнул рукой половому, и тот шустро юркнул куда-то за дверь.

Тренька положил на выскобленный до белизны деревянный стол большие сильные руки, дружелюбно улыбнулся казакам, сидевшим рядом.

– Ну, чем повеселите!

– Хе-хе, ишь ты какой пряткий: весели тебя! Чай, не девка... Сын боярской, небось? А может, сотник, аль атаман? – оценивая, оглядел его казак с окладистой черной бородой.

– Атаман, атаман! – самодовольно ворохнул плечами Тренька.

– То и заметно.

– А ты больно зрячий! Авось на наугольной стаивал!

– Бывало. И на приворотной¹⁵ тоже. Ваш брат, если лютует, – прищурившись, посмотрел чернобородый на Треньку, – страсть какой прилипчивый.

– Над таким не полютуешь.

– И то верно – не дамся.

– Ты, казак, не знаешь нас, а уже ведешь напрасные речи. Это тутешные, должно, ваши десятники.

– Может быть, может. Вижу, по роже, с далека – вон как опалило.

– Ох, казаки, как вы дерзко тут-то, в кабаке! – возмущенно бросил Пущин, которого вывел из себя развязный тон соседей по столу.

– Не токмо, на походе тоже збойливы! – засмеялся чернобородый, смело глянув ему в лицо. – А ты, случаем, не сыщик?

– Ты, начальный, расспрос бы учинил сперва, что за служилые, – спокойно сказал атаману приятель чернобородого, широкоплечий казак с изъеденным оспой лицом.

За столом назревал скандал, но в этот момент половой принес чарки.

– А ну давай-ка еще пару! – велел ему Тренька. – Угощаю, служилые! – хитро подмигнул он казакам, заметил, как сразу подошли они лицом.

Если Тренька хотел, то мог, вот так сразу, расположить к себе простецкие души служилых. Но боже упаси, если он озлобится. Хотя и в злобе он никогда не доходил до забывчивости. А лютовал он обычно на ясачных, казаков и стрельцов. В присутствии же воеводы или какого-нибудь дьяка он робел, замолкал и здорово потел, от страха...

¹⁵ Наугольная и приворотная – башни острога или города (угловая и та, под которой находились ворота), на которые обычно выставляли часовых, бывало, и за провинность.

Половой снова вынырнул откуда-то с чарками, ловко сунул их под нос казакам и опять исчез где-то в чаду набитого до отказа кабака.

– Ну, казаки, не хулите, если что было сказано в обиду! – хлопнул Тренька по спине рябого. – Не малые, не скукожьтесь от слова крепкого!

– Да мы ничего... – дружелюбно отозвались казаки.

– Пей, казаки, пей, чтоб всем... на зло было! Отведем душу от зеленой тоски! Пусть она, грешная, попляшет, потешится!..

Казаки выпили, крикнули, потянулись к миске с капустой.

– Вот ты не поверишь, атаман, что мы испытали, когда ходили в послах у колмака! Что испытали!.. Это... За одно это оклад положить надо бы, аль однорядку¹⁶. А ведь мы шиш видали от воеводы! Все колмаку да киргизам!

– Ты, Миколка, рассказывай про это, рассказывай, и тебе полегчает, – обнял Тренька чернобородого и погладил его по голове, как маленького.

– Расскажи, расскажи, – поддакнул и рябой. – И сотник пускай послушает то ж...

– Ты думаешь, сотник не хаживал на иноземца! – сказал Тренька. – Не гляди, что он молчун. То у него сызмала... Вот только Дарья подпортила ему породу. Федька у него зубаст. Ох, зубаст! Во будет служба!

– Оставь Федьку, – исподлобья глянул Пуцин на Деева. – То дело особое.

– Все, Иван, все! – качнулся Тренька к нему и приложил к губам палец: «То – молчок! Тс-сс!»

– Давай, Миколка, – повернулся и Пуцин к казаку. – Скажи – как было дело.

– Я тебя зря угощал, что ли! Фи-ить! – присвистнул насмешливо Тренька над казаком.

– Ну, коли так – слушай... Было дело, послал нас воевода Иван Володимирович Мосальской к их тайшам. Проводили мы послов их, Арлая да Баучина, аж до самых юрт...

– Сколько вас хаживало-то? – перебил его Тренька.

– Ты дай рассказать! Что перешибашь! Слушай, коли просил!

– Давай, давай, не буду!

– Вот так-то оно лучше. Пошел Пospelка, да с ним мы, казаки, трое. Было то на третий день после Алексея теплого. И пришли к их тайшам – к Изенею и Баатырю. Пришли, а Изенея уже не стало. Вместо него жёнка. И владеет всеми улусными. Зовут ту жёнку Абай. Да с ней еще Кошевчей. Тоже тайша, большой тайша... Баба же та, Абай, злющая! И хороша! Редко у них жёнки такие, а эта ладная.

– Ну-у, не может быть! – вырвалось у рябого. – Я сколько пробовал, все дурны с лица. Не то что наши.

– Где ее, нашу-то, сыщешь тут?

– Хм, купи, ежели деньги есть, – хмыкнул чернобородый. – Вон, нынче с Тары служилый уехал на Москву по воеводской посылке. Ан возьми да продай женку, на отъезд. Ему прибыльно и она при деле. Двенадцать рублей взял.

– Такие деньги-то и мы найдем, – ухмыльнулся рябой. – На соболишек выменяю.

– Это ты зря! Здесь таможня. Враз отберут государю в казну. Без бабы останешься! Ха-ха-ха! – захохотал Тренька.

Казаки подозрительно покосились на него и Пущина.

– Люди мы государственные, а не сыщики, – перехватив их взгляды, дружески сказал им Андрюшка. – Вот о колмаке ты рассказывал здорово. Это и нам в интерес. В Томск едем.

– Далеко же вам. Месяца с два будет... Киргизы там пошаливают. Князец их, Номча, два раза побивал наших. Скотинку многую отогнал.

– Черный колмак подошел и там близко.

¹⁶ Однорядка – верхняя одежда из шерстяной ткани без подкладки.

– Так он же послов шлет!

– Хе-хе, гляди, какой ты! Мы чуть с голоду не померли у них. Корм не давали, платье отняли. Где это видано в послах-то? Полоняники в улусах сказывали: хитрит колмак. На Имаш-озеро собирается. Побить-де наших хотят!.. В Казацкой орде люди секутся про меж себя, и они-де идут на них войной. Улусных жёнок и детей хоронят близко наших земель. Вот и заговаривают. Послов шлют, а сами нападают на нас же!..

– Коварен степняк! – поддакнул Тренька чернобородому.

– Ясачных грабят, в ясырь гонят, – вступил в разговор рябой. – Кучугуты шалют, и братья, и маты тоже. Аринцы и саянцы непослушны. Кузнецкие татары не платят ясак. Грозят нашего брата, служилого, побивать.¹⁷

– Ну-ну! Мы им покажем, как побивать государевых служилых! – угрюмо пробурчал Пущин.

Казаки покосились на него, поняли, что этот не даст спуску инородцам. Но и сами они не пошли бы с ним в дальнюю землю. С таким сотником или нос в табаке, или пропадешь со звоном.

– Что там, на Москве-то? Государь-то кто? Больно много слухов.

– Поляк, говорят, стоит у стен. Верно аль нет? – посыпались вопросы казаков.

– Да-а, – нехотя протянул Пущин.

– А Димитрий где, государь наш?

– Да какой он государь! Вор он!

– Ну-у! Ты гляди дела-то какие! И не поймешь ничего!

У входа в кабак послышались крики, вспыхнула какая-то возня.

Пущин приподнялся с лавки и глянул в ту сторону.

Там, у двери, двое гулящих избивали какого-то парнишку, завернув ему назад руки.

Возмущенный такой неправдой, Пущин встал из-за стола, подошел к ним, прикрикнул:

– А ну оставь мальчика, кабацкие рожи!

И, не дожидаясь, когда те отпустят свою жертву, он схватил и отшвырнул в сторону одного, затем другого. Парнишка сообразил, что это его защита, и спрятался за ним. И вовремя, так как гулящие стали угрожающе заходить с двух сторон на Пущина. Глядя на них, зашевелилась и вся кабацкая гольтыба, готовая по любому поводу ввязаться в общую свалку.

Пущин услышал рядом сопение Треньки. Тут же появился Андрюшка. Подошли казаки. И гулящие, боязливо глянув на них, исчезли из кабака.

– Ну что: пошли с нами! – положил Пущин руку на плечо мальцу и подтолкнул его к столу: «Садись, служба!.. Как зовут-то?»

– Васька Окулов, сын Захарьин. Отец с матьей Васяткой кличут.

– Откуда же ты появился здесь, Васятка?

– С Тюмени, с месяц уж.

– А-а! – многозначительно протянул Пущин.

– Откуда-то убежал, – сказал Андрюшка.

– Так ли оно? – строго спросил Пущин парнишку. – Только не ври. Соврешь – высеку. За правду – в стрельцы возьму.

– Негоже мне ходить в стрельцах, – шмыгнув носом Васятка и стал настороженно переводить взгляд с одного служилого на другого, пытаясь сообразить, шутят они или говорят всерьез. – Лучше я так, в гулящих буду.

¹⁷ Ясыри – взятые в плен в виде добычи и обращенные в рабов сибирские кочевники. Кучугуты (кученгуты) – маленькая народность, проживавшая в Саянах. Братья (братские люди) – искаженное от слова буряты, отсюда произошло и название Братского острога (г. Братск) на Ангаре. Маты (маторцы) – тувинский род. Арины (аринцы, ара) – небольшая кетоязычная народность. Саянцы – татары Западной Монголии. «Кузнецкие татары» – так русские дали название коренным жителям верховьев реки Томи по их ремеслу выплавлять железо и делать из него различные изделия.

– И помрешь с голоду. Или татары поймают, продадут в ясырь – бухарцам. Те оскоят и в евнухи. За их жёнками будешь доглядывать! Ха-ха-ха! – расхохотался Тренька над потерявшимся парнишкой. – Хочешь в бухарцы, а, малец?!

– Не-е, не хочу, – насупившись, пробормотал Васятка, вспомнив бухарцев.

Он видел их на торгах под Тюменью. Они очень не понравились ему. То были купцы, с сытыми флегматичными рожами и бабьими задницами. Даже летом они ходили в теплых халатах и тюбетейках, и от них всегда несло потом. И Васятка живо представил себе, какие у них жены: тоже, должно быть, такие же толстые и грязные. И они, жены бухарцев, будут приставать к нему, как приставала его хозяйка, вдова Варвара – рязанская торговка, которой на два года его определил в работники отец. Но у нее он не выдержал и года, убежал сюда, в Сибирь, прослышав о ней. Там, дома на рязанщине, говорили, что здесь много татар. А еще больше, сказывали, свободной землицы, дескать, на всех хватит. Но не это тянуло его в Сибирь, а желание увидеть край, о котором так много говорят. Увидеть и иные разные дальние страны. Тянуло побродяжничать. Хотелось свободы, чтобы никто не помыкал, как батька или та же Варвара. Однако на воле оказалось опасно, холодно и голодно. И чтобы выжить, он пристал к этому хмельному кабацкому миру, выискивал здесь пропитание, как воробей, стерегущий в лютую стужу на зимней дороге конные обозы: свою единственную возможность дотянуть до весны.

– Тогда в стрельцы! Вот видишь, тебе некуда деваться, кроме как ехать со мной. В Томск поедem. Все, решено, я забираю тебя! – уверенно закончил Пушин, видя, что малец совсем сдался.

– Хм, запугал я его бухарцами! – усмехнулся Тренька.

– Ничего, обвыкнет. Хорошего стрельца из него сделаю, – сказал Пушин, окинул взглядом заполненный вольными людишками кабак и подумал: «Гнать их надо отсюда подальше в Сибирь. Правильно делает государь, что набирает здесь на службу гулящих и рассылает в дальние острожки. Мало там служилых: бегут, а куда – неизвестно, как в пропасть. Всех забирает Сибирь... А тут даже церковь есть. Но разве загонишь эту гулящую жилу в храм. Не пойдет она туда. Да-а, мало сибирский народишко ходит по церквам»...

Вспомнил он, что и сам заглядывает туда не часто. Что уж говорить о стрельцах и казаках: те не верят ни в бога, ни в черта. Вот разве что когда сволочная жизнь прижмет, тогда крестятся, и то больше от страха...

Под Васятку он выправил силком у ямщика, здесь, на Верхотурье, пару саней. Тот сначала уперся было, когда он сунул ему под нос царскую грамоту. Грамотка не взяла: до царя было далеко, до воеводы тоже не близко.

– Знаю я этого гуляку-стрельца, – хмуро сказал ямщик, отстраняя рукой грамоту. – Этот стрелец околачивается тут с осени. Не дам под него коней. Нет у тебя про это в грамотке-то, подорожной.

– Я тебе не дам! – вспыхнул Пушин. – Не дашь, паскуда, высеку! – сунул он плетку под нос ямщику и гаркнул: «Морда устюжская! Зажрались! Ах ты...!»

Он витиевато выругался, но ямщика не тронул, знал, что тот будет жаловаться самому воеводе. А воевода может стать за челобитчика: мало их, ямщиков, да и провожатых тоже, а государеву гоньбу вести надо. Следят за этим строго. Вот и платят им из государственной казны по 20 рублей. Хорошие деньги! И корм дают неплохой: по 12 четей ржи и овса... Он, сотник, не получает и половину этого за свою службишку...

– Разнесем, братцы, эту ядрёну... заставу по бревнышку! – подступили сургутские со всех сторон к ямщику.

Плетка и напористость служилых действовали сильнее грамотки.

– Все, Васятка, садись, поехали! – крикнул Пушин мальцу, крутанулся в тулуп и завалялся в сани.

– Пошел! – слышался голос ямщика.

И сразу все оживило, зашевелилось, зашуршало под санями сухой от крещенских морозов снег.

Верховой проводник тронул коня и двинулся впереди обоза. Другой проводник, пропустив обоз, пристроился позади него. Подменяя впереди один другого, они повели его через промежуточные станы до следующего яма, до Тюмени.

Тюмень встретила сургутских колокольным перезвоном, под равномерные удары большого колокола на церкви Рождества. Ему вторили колокола на Никольской. Из острожка доносились голоса колоколов на звоннице церкви Всемилощивейшего Спаса.

Обоз пересек речку Тюменку, обогнул угол городской стены, завернул к проезжей башне. И сани друг за другом нырнули в темный проем ворот. Сургутские проскочили мимо двух караульных изб, приткнувшихся тут же к городской стене, и покатились к гостинному двору. Там они покидали на снег поклажу и отпустили проводников. Те развернули обоз и погнали лошадей в ямскую слободу, что раскинулась на другом берегу крохотной речушки Тюменки.

Здесь, в Тюмени, Пущин с Тренькой представились, как положено было им, государевым служилым, в съезжей избе первому воеводе боярину Матвею Годунову. Был в избе и второй воевода, Семен Волынский. Его родной брат, Степан Волынский, стоял в эту пору в Березове первым воеводой. А их двоюродный брат Федор Волынский был воеводой в Сургуте, начальным над ними, над Пущиным и Деевым.

«Однако не похож на того», – подумал Пущин, пожимая руку Волынскому; тот оказался много моложе его и обычной наружности.

Они передали воеводам грамоту с Москвы, их не стали ни о чем расспрашивать и отпустили.

В Тюмени Пущин всегда невольно подтягивался и веселел. Да как тут не веселеть-то? Это был шумный торговый городишко. Правда, на зиму он несколько затихал. Но все равно был полон людей, хотя постоянно в городке жило их не много. Кабака не было, а вот тюрьму построили сразу же. Так же как понаставили по городку служилые, татары, заезжие купцы и всякие инородцы лавок, прилавков, полок и амбаров. И столько, что не сыщешь в ином сибирском городишке. В Тюмени торговали все и всем...

От Тюмени до Тобольска они добрались быстро: всего за пять дней. На последнем стане, в Тарханском острожке, перед Тобольском, ямщик дал сургутским нового провожаемого.

– Вот этот поведет вас дальше. Зубарев!

Проводник запоминался сразу же. Не походил он на обычного мужика, даже для вольной Сибири. Уж очень независимо взирали на белый свет, из-под низко надвинутого на лоб малахая, угольно черные, со странным блеском глаза... Мужик явно был с «лешим глазом».

«Такой и порешить может, – подумал Пущин. – Дорога дальняя, присматривать надо. Задремлешь, топориком тукнет, ограбит и скроется. И никто не найдет его в этих краях»...

Проводник заметил, что он был всю дорогу начеку, и на прощание, уже в Тобольске, ослабил и крикнул ему: «А ты, сотник, пугливый!»

– Хе! Осторожливый! С таким, как ты, всегда надо быть на догляду!

– Пошто так?

– Дурной глаз у тебя!.. Зовут-то как?

– Ермошка.

– Ермак, значит.

– Не-е, Ермак был тут один! И потом, он-то не упустил бы тебя. Да и ты сам бы не захотел познакомиться с ним!

– Почему?!

– Ты опасливый, а он был смел... Ну, бывай, служилый!

Проводник надал пятками по бокам коню, тот лениво тронулся с места, и он поскакал трусцой в Ямскую слободу.

От долгого неподвижного сидения в санях у Пушина заломило спину, и заныла старая рана. Вот так, чуть застудишь, сразу же дает о себе знать.

На всю жизнь запомнил он того остяка, который ранил его в верхних сургутских волостях, когда ходили они на князца Воню. Много тогда они побии инородцев, а еще больше привели ясырем в Сургут. Тот остяк, опасаясь его пищали, стрелял издали, из мощного лука. И стрела, хотя и на излете, ударила его в сапог, пробила его рыбьим наконечником и достала до кости. Рана зажила быстро. Нога же с тех пор нет-нет да и побаливает.

Здорово задел его тот поганый остячек. Но ничего, поплатился за это. Подстрелил он его – не до смерти. Доковылял он до него на раненой ноге, с перекошенным от боли и злобы лицом. Остяк же, увидев его, приподнялся на руках с земли, испугался его бешеного взгляда и залопотал что-то по-своему. Но он ничего уже не слышал и не видел: выхватил из ножен саблю и рубанул его по голове. Умело рубил...

Страшен он был тогда, когда умирляли стрельцы и казаки взбунтовавшиеся остяцкие поселения. Еще троих располосовал он окровавленной саблей, не пожалел и старуху, подвернувшуюся под горячую руку.

– Будет, пожила, – буркнул он, переступил через труп и хотел было выйти из нищенской берестяной юрты, но тут заметил круглые от ужаса глаза мальчонки, спрятавшегося за камельком под шкурами.

Выдернул он из-под шкур остячка и вытащил из юрты. Малец зверенышем вцепился зубами ему в руку...

В другое время его участь была бы решена. Но сейчас ему повезло. Насытившись убийством, злоба ушла из сердца сотника.

И он пожалел мальчика, взял с собой, зная, что тот погибнет самое большее через неделю в этом опустошенном краю посреди топкого дремучего урмана¹⁸.

В Сургуте он продал мальчонку. Продал дешево, так как в тот год ясырь был в городе в избытке. Да и ненадежный это был товар. Отнимали его у служилых по указу Годунова. Тот повелел сургутскому воеводе Федору Лобанову-Ростовскому отпустить на родину всех пленников, еще не крещеных, а иных, крещеных, поверстать в службу. Девочек же выдать замуж за крещеных. И еще повелел Годунов, под страхом казни, не вывозить пленников на Русь.

Вовремя тогда продал он остячка. Не прогадал. С той поры, однако, поселилась у него в сердце жалость к мальчикам. Вот и в Верхотурье толкнула она его вступиться за Васятку...

Разгоняя в занемевших ногах кровь, он присел несколько раз, поднял со снега шубу, крикнул Васятке: «Стаскай припасы!» – и пошел с Тренькой к высокому крыльцу гостиного двора.

В избе он скинул кафтан, стянул тяжелые, подбитые мехом сапоги и устало плюхнулся на жесткий топчан.

В тесном помещении было оживленно и душно от горланящей ватаги обозников и терпкого запаха мужицкого пота.

И Пушину невольно вспомнилась опрятная банька рядом с его избой в Сургуте, запах березового веничка и чистого мягкого тела Дарьи...

– Ты что закручинился-то? – пристал к нему Тренька, увидев у него на лице тоскливое выражение.

– Рана знобит.

¹⁸ Урман – «черная», еловая тайга; здесь: лес вообще.

- Хочешь зиндовой травки? Всегда припас имею.
- Не берет травка. Глубока рана.
- Я же без глума.
- Не гунди, дай отдохнуть! – отпихнул Иван его.

В горнице казаки и мужики шумно ели, пили и пели. Вместе с ними куролесил и Андрюшка. Затем они собрались и ушли в кабак, захватив с собой и Треньку.

Пушин не пошел с ними. Он здорово поиздержался в Москве. Денег от жалования не осталось, зато домой он ехал с товарами.

«Не приехал бы, то и не получил бы!» – неприязненно подумал он о приказных дьяках, готовых оттянуть с выдачей жалования, урвать что-нибудь с каждого служилого.

В дальних городках служилые маются без денег часто по несколько лет. Потом, если повезет, соберутся, вырвутся в столицу, получают все сполна и назад. А путь до Москвы не ближний: от иных острожков добираются по полгода и более. Бывает, к тому времени то государево жалование иным уже оказывается и не нужно: мрут либо гибнут, а то безвестно пропадают; кто-то уходит ясырем в Бухарию или Персию, другие в Джунгарию; кто-то остается лежать в глухой тайге со стрелой в груди, позарившись на мягкую рухлядь инородцев. И не счесть стрелецких и казацких головушек, павших за первые годы походов в Сибири...

Хлопнула дверь, и в избу вошел Васятка, таща за собой поклажу.

– Ну, как – прибрал?

– Сейчас, еще принесу! – заторопился Васятка, глянув на сумрачное лицо сотника, и выскочил из горницы.

За две недели совместного пути от Верхотурья его отношение к Пушину резко изменилось. Если сначала он был для него просто новым человеком, интересным, то теперь он стал побаиваться его. Правда, за сотником было сытно, надежно, но воли убавилось. И он смутно почувствовал, что теперь все пошло совсем в иную сторону, чем туда, куда его звала натура...

На следующий день Пушин и Деев пришли на съезжий двор.

Иван махнул веником по сапогам и вошел в воеводскую. За ним порог избы переступил и Тренька.

В просторном помещении вдоль стен тянулись лавки. В дальнем углу, в закутке, виднелся большой воеводский стол. Посередине же, прямо под матицей, стоял коротенький покатый столик, а за ним горбился дьяк Нечай Федоров и что-то писал, аккуратно макая в чернильницу гусиное перо.

– А-а, Пушин, здорово! – поднял он голову. – И ты здесь, – узнал он Треньку.

Сотник и атаман поздоровались с ним.

– Вы подождите, посидите, – сказал он им.

Пушин и Деев сняли шапки и сели на лавку.

В горнице было тихо. Слышался только слабый скрип пера и тяжелое дыхание дьяка, которого, судя по его усохшему желтоватому лицу, донимала какая-то грудная хворобушка.

Закончив писать, дьяк встряхнул над бумагой песочницей, отложил в сторону перо и спросил их: «Ну что – домой, или как?»

– Домой, – сказал Тренька и кивнул головой на Пушину: «А он к новому месту».

– И куда же?

– В Томск, – нехотя ответил Пушин.

– Далече же тебя дьяки-то послали, – усмехнулся Федоров, и в глазах у него мелькнула тщеславная гордость за свое сословие. Вот-де каковы они, эти дьяки, неродовиты, а захотят, и пойдет мил сын боярский, или сам князь, туда, куда пошлют. А послать могут далеко, аж на самый край государственной земли. Вот как этого сотника – в Томский острог. Это же дальше некуда. Дальше разве что в киргизы, к тому же князю Номче, или в тунгусы.

Пушин мрачно взглянул на болезненное лицо дьяка и подумал: «Встретился бы ты мне где-нибудь в тесном закутке! В момент укоротил бы на дурную башку!»...

Дьяк заметил напряженный взгляд сотника и сменил тему разговора. Он хорошо знал, как надо поступать, чтобы и дело делать и самому не забываться.

«Уж больно сердит этот сотник, – мелькнуло у него. – Ну да ладно, пускай будет сердитым, лишь бы исполнял государеву волю»...

– Сейчас Борис Иванович подойдет. Грамотку тебе придется захватить в Сургут, к Волынскому... Ох, и повезло же тебе, Пушин! От одного брата – к другому, – расплылся он улыбкой. – В Сургуте-то спокойно, а вот под Томском тревожно. Как – не боишься ли?

– Нечай Федорович, ты говори, да не заговаривайся, – с усилием улыбнулся Пушин.

– И я о том же – беречься надо бы! Вот и в Томск, Василию Васильевичу, отписали, чтобы бережно жил от киргизов и от колмака то ж!

– А ты думаешь, Волынский не знает, как говорить с инородцами? – спросил Тренька дьяка.

– Да знамо, знамо, что знает! – замахал тот на него руками. – Пятый годок уже в Томском! Знамо, да государь велит напоминать, чтоб урону городкам не было!

В сенях заскрипели половицы под чьими-то тяжелыми шагами, и дверь широко распахнулась. В избу по-хозяйски уверенно вошел тобольский воевода князь Катырев-Ростовский, а не его помощник Борис Нащокин, которого ожидал дьяк.

Стольник Иван Михайлович Катырев-Ростовский был крупным молодым мужчиной с окладистой бородой и приятным упитанным лицом. В Тобольске он был воеводой всего только второй год. И это воеводство обернулось тяжелой скорбью для его жены Татьяны Федоровны, дочери бывшего боярина Федора Романова-Юрьева, а в сию пору ростовского митрополита Филарета: та постоянно болела. А от чего – то было неизвестно и лекарю. Говорит, место не по ней, холодное, болот вокруг много, вот-де та сырость и донимает ее. Про то она и кашляет по осени и зимой.

И отписал Иван Михайлович об этом своему тестю в Ростов: что-де не долго она протянет тут, в этом лихом месте. Умрет твоя единственная дочь, Федор Никитич. Похлопочи перед Шуйским о прощении. Ведь итак он, князь Иван Михайлович, полностью повинулся перед государем. И теперь чист душой. А то-де Михалка Скопин лишнее клепал на него об измене, да на его родичей, дядьку жены, Ивана Никитича Романова, да на мужа тетки Анны, князя Ивана Троекурова. И то-де он сказал на пытке честно, что не хотел воевать, как Михалка приказывал. А к «Вору»¹⁹ отъезжать и не помышлял, потому что «Вор» он и есть «Вор»...

Но к тому времени, как дошли эти его слезные жалобы до Ростова, тестя там уже не было: Ростов пал, митрополита силой увезли в Тушинский стан второго Лжедмитрия, «Тушинского Вора». И князь Иван Михайлович потерял всякую надежду на скорое возвращение из воеводской ссылки. Потихоньку же все-таки он готовился к отъезду. Часть мягкой рухляди его стряпчий уже отправил в Москву тайно с торговыми людишками, взяв с них заемные кабалы, чтобы те ничего не утаили. Другую часть рухляди, из поминок и поборов ясачных и промысловиков, он продавал здесь, на базаре в Тобольске, переводил в деньги. Знал стольник, что на Обдорской и Верхотурской заставах таможенный голова и целовальники не досматривают деньги. Нет на то государева указа. Рухлядь же в Сибири на торгах была в цене, и не малой. И князь порой сиживал со стряпчим и прикидывал, что только серебром уже есть 800 рублей сибирского нажитка²⁰. А сколько ушло за Камень!..

¹⁹ «Тушинский Вор» – Лжедмитрий II, стоявший с войском в это время под Москвой вблизи села Тушино.

²⁰ Чтобы представить, большая ли эта сумма, следует сравнить ее с годовым окладом главы Боярской думы (второго человека в государстве) в 300 рублей; в описываемое время главой Думы был князь Федор Иванович Мстиславский.

Князь Иван Михайлович отличался большой физической силой. И этим, а также внешне он походил на родного дядьку своей жены, Михаила Никитича Романова, умершего в ссылке в Пелыме, в сырой землянке на воде и хлебе, закованным в железо по указу Бориса Годунова.

Татьяна же Федоровна, когда еще ходила в девках, была влюблена в Михаила Никитича: красивого, сильного, обаятельного и во многом похожего на своего старшего брата Федора. И об этой первой любви, к своему родному дядьке, она поведала Ивану Михайловичу в их медовый месяц.

Князь отнесся к этому с пониманием и был благодарен ей за доверие и нерастраченную любовь и нежность, которые достались ему...

Вместе с воеводой в избу ворвались вихри снега, задуваемого в сенцы не на шутку разгулявшейся метелью.

– Кто такие? – строго спросил князь Пущина и Деева.

– Сургутские! – поспешно ответил дьяк за них. – А вот его послали в Томск, – показал он на Пущина.

Дьяк Нечай Федорович был далеко немолод. На государственной службе он ходил уже более трех десятков лет, и все по московским приказам. На Казанский приказ его продвинули в первый год царствования Годунова, когда тот расставлял всюду новых людей. И Нечай Федорович на этом приказе пересидел не только его, но и самозванца, Гришку Отрепьева. За эти годы он перевидал многих сибирских воевод. И чертежи нового острога, куда едет вот этот сотник, Томского, который всего-то недавно, шесть лет назад решили ставить, тоже положили ему на стол, прежде чем они попали к Годунову... И вот теперь, на старости лет, он угодил сюда. И тяжело ему было здесь, недобрые мысли гнетут, что уже и не выбраться ему отсюда. Тут лежать его косточкам. Тут!.. При Шуйском его перевели в приказ Новгородской чети, перетряхивая старым делом всех воевод и дьяков, дабы пообрывать воровские связи. А два года назад по государственной грамоте отправили его сюда, в Тобольск, дьяком при Катыреве: с тайным наказом досматривать за ним.²¹

Человеком Нечай Федорович был тертым, характером покладист, к воеводам приносился быстро, знал свое место. Испугать его, как и удивить, было не просто. Да вот только не с Катыревым. С тем вышло туго... Станным был стольник. Умен, начитан. Это бы еще полбеда. Среди воевод есть и такие. В Тобольске он сидел на воеводстве не по своей охотке и уже собирался податься на Москву, поэтому приворовывал. Не то чтобы очень, но и не меньше прежних сибирских наместников. За свою службу дьяк нагляделся всяких воевод. Но чтобы слагали вирши – такого еще не бывало. Чудно это было. С таким дьяком сам не сталкивался и слухом не слыхивал. За собой в Тобольск стольник притащил целый короб книг. И все пишет, пишет, а что – то неизвестно. Ну, добро бы только воровал. Этим все занимаются. С Нащокиным проще: тот человек свой, понятный, как все. А этот ворует, да еще и пишет... Разумеется, Нечай Федорович донес об этой странности князя в Тайный приказ, как было велено ему. В ответ получил оттуда, что-де то стольнику за обычай, это его дело, а не дьяково, и не лез бы он к зятю Филарета, да еще и родственнику царицы Марии Шуйской, хотя и дальнему. Получив из Москвы нагоняй, дьяк испугался и поспешил спрятать концы об этом тайном деле. Но воевода свел про то и, в гневе, а рука-то у него тяжелая, чуть не пришиб его. Грозился сгноить. Припомнил ему, что он, вместе с дьяком Власевым, вел в Казанском приказе дело тестя, Федора Романова, в ссылке: старался, выслужился перед

²¹ Дьяк Нечай Федоров действительно умер в Тобольске через год, т. е. в 1611 году, на службе в Сибири. Там же умерла и Татьяна Федоровна, жена Ивана Катырева-Ростовского, единственная дочь Федора Романова, старшая сестра будущего царя Михаила Романова, первого царя из дома Романовых.

Годуновым. И Нечай Федорович так струсил, что с той поры стал телом сдавать, хворь какая-то объявилась. А уж угодить старался во всем князю, об этом лучше и не спрашивать...

— А-а, — неопределенно протянул воевода. — Не скоро будешь там, — глянул он на Пущина. — По воде только.

Он прошелся по избе, остановился около дьяка.

«Вот и Нечай Федорович мучится тоже дыханием, — подумал он, взглянув на того, возвращаясь мыслями все к одному и тому же. — С лица пожелтел. Совсем стал колмак-колмаком. Да ему-то уже и впору скорбеть, стар уже. А Татьяна-то молода»...

— Что у тебя? — спросил он дьяка.

— Отписка готова в Томск. С Москвы грамота пришла, с Казанского.

— Давай, чти.

Дьяк взял со стола грамоту, развернул, откашлялся, хотел было читать, но затем обернулся к сотнику и атаману: «Вы идите сейчас. А ты, Пущин, завтра к вечеру придешь. Отписку возьмешь — Федору Васильевичу».

Иван и Тренька встали с лавки, нахлобучили на голову шапки и быстро вывалились из воеводской в круговорот метели, под равномерные удары часобитного, ссыльного углического колокола у церкви Всемилоственного Спаса, что стояла на торгах.

Из Тобольска сургутские выехали в приподнятом настроении. Их долгий путь близился к концу. Оставалось совсем недалеко, каких-то две недели езды.

До Аремзинской волости ямскую гоньбу вели тобольские захребетные татары. От Аремзы до Демьяновского, а затем до Самаровского яма обоз сопровождали тобольские ясачные остяки. По реке, все так же по зимнику, до устья Иртыша они управились за шесть дней. Там они перегрузили поклажу на нарты и на собачьих упряжках, уже своих сургутских остяков, двинулись вверх по Оби. До дома было рукой подать, всего-то неделю нартами.

На огромные расстояния, по тысячу верст, протянулись концы сибирских ямов, увязанные в единую сеть промежуточными станами. И по ним летом и зимой, без мешкоты, гнали посыльные с грамотами. По царскому указу ехали на службу в городки воеводы, дьяки, целовальники, стрельцы и казаки. Перевозили на дощаниках и стругах хлебные государственные запасы и казну. К таким караванам, хорошо охраняемым, обычно приставали торговцы, промысловики и всякого рода мелкие служилые, дабы уберечься от лихих людишек, шаливших по дорогам ослабленной смутой Московии. Весной же и осенью связь между ямами прерывалась полностью.

* * *

Минул уже год как Дарья Пущина жила без мужа. И дело шло уже к тому, что пора было бы ему и вернуться. Волнительно было ей, предчувствие появилось у нее, что вот-вот придет он. Ну не сегодня, так завтра. Но близко он, беспокойно ей, истома у нее, не обманывала она ее.

Все это время маяты без мужа по хозяйству ей помогала только остячка Маша. Одной-то совсем было бы трепетно. Особенно здесь, где бабы-то в редкость, а вокруг по острожку снуют одни мужики и плятятся, как голодные волки. Того и гляди грех выйдет...

Скрашивали ей одиночество лишь дети: старшая Любаша, Федька и совсем еще крохотная Варька. Та уже и ходить начала без отца. Если бы не они, то совсем было бы невмоготу. И так по ночам не спится, все думается: как бы дурна какого не вышло с ним на Москве. Горяч он, а оттуда недобрые вести идут... Говорят, сыскался какой-то новый царь Димитрий. С поляками пришел. А царь Василий все никак не управится с ним. Да это не бабьего ума дело. Но все равно страшно. Не за себя, за него, за государя своего, за Иванушку. Кабы с ним чего-нибудь не стряслось... Вот и Варька хворает: то одно у нее, то другое. Овощи-то здесь

не растут, ребятишки и болеют. Место худое, сырость окрест. Летом во двор не выглянешь – мошка жрет. И скотинки никакой. Ездят все на собаках, как Вонины остяки. Самого-то князца уже давно нет. Седьмой годок пошел, как стрельцы и казаки ходили на него и побили напрочь. Остяк и присмирел, ясак платит исправно. Об этом и воевода говорит... Далеко служилые ходят за ясаком, очень далеко. Месяцами добираются. Ну да это тоже не моего, бабьего, ума дело. Пускай мужики разбираются, что к чему. А вот как бы плохо с Иванушкой не стало. Воротился бы он скорее домой. И мне было бы спокойно. Да и сердце разрывается, глядя на Варьку. А что делать, чем помочь от болячек?.. Заели они малютку. Иванушка-то знает хорошие травы. Знамо, по тайге ходит, научился. А Варька уродилась болезной какой-то. Не в отца. Тот крепкий, здоровый. Правда, злой. Ну да какой мужик-то не злой? Это тогда и не мужик! Здесь хочешь не хочешь, а будешь злым. Вон, одно, что стоит ясак собирать с остяков. Того и гляди, ежели не обманут, то пустят стрелу. Да Иванушка-то осторожливый. Знает, где можно, а где нельзя силой взять, только пугнуть. Вот за это и не любят его стрельцы и казаки. Те народ безоглядный, напьются и лезут куда ни попадя. Остяки же выпьют, ну такие хорошие, словно малые дети. А наш мужик дуреет с горячего вина. Для него ежели не податься, то и не выпить. Ну да это тоже их дело. Мое же, бабье, – Варька хворает, с припасами скудно. Скорей бы приезжал Иванушка. Вон на дворе уже и март подходит к концу. Света прибавилось. Но все равно ночи длинные, если мужика дома нет. Да и Варька день-деньской кричит, животом мается. Ох, да когда же это все кончится-то!.. Однако пора вставать, приготовить что-нибудь.

– Маша! – крикнула она остячку.

Маша была девица восемнадцати лет. Жила она в работницах у Пушкиных с тех пор, как ее, в малолетстве, увезли из родного юрта и окрестили в Сургуте.

– Вот глухая тетеря, не слышит, – пробормотала Дарья.

Она натянула сарафан и зашлепала босыми ногами по холодному полу к полатам, где крепко спала работница, уткнувшись головой в теплые бревна. Бесцеремонно растолкав ее, она велела топить печь.

Маша проснулась, живо соскочила с полатей. Плеснув в лицо холодной воды, она сразу разогнала остатки сна, подвязала пояском старенький цветастый сарафанчик и хлопотливо зашумела ухватами и чугунками.

А днем в ворота острожка влетели нарты. Рядом с ними, громко покрикивая на собак, бежал каюр. Затем одна за другой длинной вереницей вкатились собачьи упряжки служилых. И с нарт, под громкие крики сбегавшихся со всех сторон жителей острожка, на снег посыпались путники. Их сразу же окружили плотной толпой жители, смеясь, обнимали и о чем-то расспрашивали.

Дарья вышла во двор и встала у крыльца избы, терпеливо ожидая Ивана. Прислушиваясь, она узнала громкий бас Треньки: он прорывался даже сквозь веселый хохот...

Пушин с трудом вырвался из толпы служилых и подъехал на нартах к своему двору. Следом за ним к избе подвернул нарты и Васятка.

– Ну, здравствуй, Дарьюшка! – с волнением протянул Иван к ней руки.

Дарья прижалась к нему, уткнулась в его меховую шубу, отдающую въевшимся запахом лошадей и собак, и, от радости, тихо, по-бабьи, расплакалась.

– Будет, будет тебе, – погладил Пушин ее по голове, легонько подтолкнул к крыльцу: «Иди в дом. Что здесь стоять, пристынешь. Я управлюсь – приду»...

Он разгрузил нарты и стаскал с Васяткой в клеть припасы.

– Ну что встал, заходи, – сказал он парнишке, который нерешительно остановился перед дверью в избу. – Это теперь и твой дом...

Войдя в избу, он разделся у порога, прошел в передний угол и сел на лавку. За ним, как привязанный, прошел и сел рядом Васятка.

– Вот – Васятка, – представил он смущенного мальчика своим домашним. – Будет жить в рабочих, до стрелыца... Принимайте как брата.

В избе было тепло и все до мелочей знакомо. Со всех сторон на него глазели его родные. И он почувствовал, насколько отвык от них, так как сейчас, под их взглядами, ему стало как-то неловко, и от этого изба показалась чужой и тесной.

Семья у него была небольшая. Старшей, Любаше, было уже 14 лет. Федька был младше ее на два года. Самая маленькая, Варька, появилась на свет как раз в ту пору, когда он с другими сургутскими служилыми рубил Томский городок. И тогда, на Томи, его изрядно донимала не стройка, хотя было тяжело, и стояла необычно сильная жара. Его не покидали тревожные мысли о Дарье. Уходя с караваном судов вверх по Оби, он оставил ее в Сургуте чреватой. Она доживала последние месяцы и уже без него разрешилась Варькой. О том, что у него снова родилась девка, он узнал только через полгода, когда вернулся по зимнику в Сургут. В то лето служилым, татарам и остякам, направленным по государственному указу на строительство Томска, пришлось здорово попотеть. Работы было невпроворот. Она была тяжелой, казалось, ей не будет конца. К тому же их подгоняли воеводы, они торопились до холодов поставить и город и острог. С полусотней стрелыцов Пушин сначала рубил воеводские хоромы, ставил их глухую стену в пролет городской стены. Затем Васька Тырков и Гаврило Писемский, под началом которых шли все работы, придали ему в помощь березовских остяков и перекинули на бугры: рубить Мельничную башню. Этих остяков, 100 человек, привел Онжа Юрьев, двоюродный брат Игичея Алачева. Игичей же, владетельный князь всех кодских остяков, только что умер. После него остались два его сына, Михаил и Лобан, но они были еще молоды для такого дела. Поэтому всем заправлял Онжа.

Остяки не умели рубить ни избы, ни, вообще, стены, да и были плохими рабочими.

И Пушин, в один из первых же дней работы с ними, поругался с Онжей. А потом, поняв, что толку от них все равно никакого, махнул рукой и уже не обращал внимание на того же Онжу.

Затем они рубили стену на краю обрыва, круто падающего к болоту. Только к концу сентября, когда закончили основные постройки, запал и спешка пошли на убыль. С великим трудом за лето, прихватив еще и сентябрь, они поставили городовые стены и башни, срубили государственную житницу, зеленый погреб и съезжую, поделали избы служилым, которые оставались в Томске годовалить. На том завершились работы в тот год...

Дарья подтолкнула к нему Любашу и Федьку: «Поздоровайтесь с отцом! Чего испугались – не укусит!»

Иван приласкал робко подошедшую к нему Любашу, повязал ей на голову платочек из адамки, приглянувшийся ему на базаре в Москве. Из-за него он немало поторговался с прижимистым лавочником. Яркий цветастый платочек резко оттенил худенькое личико, с такими же зеленоватыми, как и у него самого, глазами и пушистыми черными ресницами. За год Любаша сильно вытянулась. Но он невольно обратил внимание не на это, а на болезненную бледность дочери. Она сразу бросалась в глаза, по сравнению с его руками, темно-коричневыми от зимнего загара, как будто он нарочно вымазал их грязью. Точно такая же белизна покрывала и лицо жены. Долгие зимние месяцы в душной темной избе и бессонные ночи над Варькой не прошли для нее бесследно: она заметно постарела.

В отличие от сестры, Федька выглядел ладным, крепким и был таким же загорелым, как и отец. Уже месяц он пропадал целыми днями на улице, как только установилась солнечная погода. Так что Дарья не могла сыскать его по острожку и загнать домой, а вечером ругалась, чтобы приходил хотя бы поесть. За этот месяц он поднабрался силенок. Лицо у него стало скуластым, костлявым, совсем как у отца, а взгляд открытым, уверенным.

Дважды приглашать, подойти к отцу, Федьку не было нужды. Он и раньше не стеснялся его.

У Ивана же с сыном сложились особые отношения. Его он любил больше, чем Любашу и Варьку. Когда тот был совсем маленьким, он часто возился с ним. И в этих играх, подзуживая его, он сам волей-неволей приучил его к тому, что Федька стал зло, по-настоящему, царапаться и драться. При этом еще по-детски не осознавая, что делает отцу больно. Один раз основательно досталось и Треньке, когда тот надумал было потешиться с ним.

– Ты что растишь звереныша-то! – проворчал Тренька, зажав в ладони укушенный до крови палец, и с тех пор уже не ввязывался ни в какие забавы с Федькой.

А Иван стал настороженно поглядывать на сына. Былое безмятежное любование им исчезло. У него появилась смутная догадка, что он сделал с ним что-то такое, что уже нельзя было изменить и что обернется недобром прежде всего для самого Федьки.

Сыну он привез в подарок заячий малахай, купленный на московском базаре. Федька уже давно бегал зимой в драной отцовской шапке. Это было негоже. Он был уже взрослым парнишкой. В Сургуте же скорняка не было. Правда, иные служилые брались за поделки сами. Однако занятие это было морочное и шло только в охотку. На заказ никто не работал. У Пущина же к ремеслу не лежала душа. Да и времени и сил не хватало на это.

И он нахлобучил на голову сыну малахай, заранее зная, что тот окажется ему большеватым: он покупал его на вырост, имея при себе мерку с головы сына.

– Ничего, к зиме в самый раз будет, – легонько хлопнул он Федьку ладошкой по спине.

– Спасибо, батька, – с довольной улыбкой небрежно бросил тот и отошел от него.

Жене Пущин привез отрез из гамбургской настрафили на женскую верхнюю одежду. Варьке же точно такой, как и Любаше, платочек. Не забыл он и остячку: подарил ей костяной гребешок, купленный на Тобольском рынке в лавке местного кустика.

Подарки взбудоражили всех. В избе у Пущиных стало по-праздничному шумно и весело. Особенный же восторг вызвали красные сахарные леденцы, высыпанные Иваном из кошелька на стол. Но их Дарья сгребла тут же в кучу.

Федька заныл было, но мать цыкнула на него: «Цыц!»

Затем она оделила всех по спице, остальные же спрятала, чтобы на Пасху снова порадовать детей.

За занавеской завозилась и захныкала Варька. Иван встрепенулся и сунулся было туда, чтобы взглянуть на глазенки младшей дочери. Но Дарья не пустила его, погнала к печке.

– Иди, отогрейся – застудишь. Иди, иди, не пущу!

И он покорно подчинился, зная, что спорить с ней было бесполезно. У его жены было особенное сочетание слезливой сварливости со стойкостью и решительностью, которые впору было бы иметь какому-нибудь мужику. Поэтому-то он всегда покидал дом со спокойной душой, уверенный, что если в его отсутствие что-нибудь случится, то она сумеет постоять и за себя, и за детей, и за их дом. Отведали эти черты характера жены Пущина и жители Сургута. Отведав же, они сторонились и не связывались с их семейством.

– Ну, как, Маша, все хорошо, а? – столкнувшись у печки с работницей, спросил ее Иван и невольно заулыбался, окинув взглядом ее тонкую стройную фигуру.

Та согласно кивнула головой, не поднимая глаз и продолжая все так же хлопотать с ухватами. Разве что руки, выдавая ее волнение, засновали быстрее, беспокойнее.

При виде молодой цветущей девки у него заломило все тело, потянуло сграбастать ее, измять, от нахлынувшего желания...

И он вспомнил, как еще в ту пору, когда Дарья носила Варьку, он овладел Машей: быстро, суматошно и грубо. И его удивило в ней то, что она была безропотно покорной, как тряпка. В голове же тогда у него мелькнуло, что случись такое с русской девкой, то та выцарапала бы ему глаза, или изошлась бы слезами, а то, чего доброго, наложила бы на себя руки. Эта же ничего, как будто так и надо было. И вот такая штука. Ему понравилась в остячке именно эта ее покорность. Она привязала его к ней, крепче любого заговора или

ворожбы... Дарья об этом догадалась быстро, но не подала виду, что знает. Она решила, пусть лучше будет так, чем он станет якшаться с грязными бабами где-нибудь в остяцких кочевьях, куда наезжал собирать ясак или отправлялся по жалобам инородцев воеводе...

К печке подошел Васятка.

Иван обнял его за плечи, подтолкнул вперед.

– Маша, вот привез тебе жениха! Подходит аль нет?

Маша метнула беглый взгляд на смутившегося мальчика и отвернулась.

– Ха-ха-ха! – засмеялся Иван. – Что – мал? Вот подрастет, будет впору!

Из-за занавески вышла Дарья и недобро посмотрела на них.

– Ну, иди, что ли! Согрелся – хватит!

Под сердитым взглядом жены Иван виновато ухмыльнулся и пошел к Варьке.

Несколько дней он не вылезал из дома: отсыпался и отъедался под непрерывный говор жены...

– Иванушка, а что тут было-то! Слухи, страх, до ужаса! Служилые-то все стояли по караулам! И день, и ночь! Остяки и вогулы сговорились меж собой! К ним же татары, тобольские. Об измене!.. Бунт замыслили! И все против государевых людей! Побить-де их надо! Ловить по Иртышу и Оби, и побивать! Как я напугалась тогда за тебя, думая, что и ты едешь там же где-то!..

– Ну-ну, и зря боишься. А про эти вести мне расскажут.

– Не-не, Иванушка, ты послушай! – заторопилась Дарья, ухватила его за рукав, видя, что он хочет уйти от нее. – Послушай, послушай! Опять эта поганая коцкая княгиня, Игичева вдовица, всех замутила! И христианскую веру приняла, и государю прямить клялась!.. И что бабе не живется?! – осуждающе покачала она головой.

– Хватит, Даша! – осадил он ее. – Не твоего ума это дело! Не бабье!

– И я говорю – не бабье! – поспешно согласилась Дарья с тем, чтобы только не отходил он от нее, весь день всячески ублажала его, вновь и вновь заговаривала, чтобы лишний разок подойти, коснуться, истомившись от одиночества за год.

– Ты, лучше, покорми меня. В дороге-то я сильно поизмерз, оголодал. Все не наемся никак. А про измену воеводы сыщут. Сыщут, сыщут! – повторил он, заметив недоверчивый взгляд жены. – Некуда инородцам деться. И куда побежит, коли побежит? По тайге! Так там свои же поймают и прибьют. Голодно в тайге-то...

В этот момент дверь избы широко распахнулась, и по ногам прошелся все еще позимнему холодный апрельский воздух. На пороге выросла приземистая фигура атамана, а за его спиной замаячили еще какие-то неясные тени.

– Принимай гостей, Иван! – гаркнул пьяным голосом Тренька и шагнул через порог.

За ним вошли Иван Кайдалов и Герасим Петров, сургутские десятники. Протиснувшись в узкую дверь, они туго забили тесное пространство около большой печи, неуклюже приподнятой на деревянной подклети.

– Что – не ждал? Хватит с бабами возиться. По охотке уважил и будет. Моя-то ничего, не сердится. Поласкал и на сегодня баста!.. Не так ли, Дарья? Ха-ха-ха! – захохотал атаман.

– Тьфу ты, срамоту-то развел! – нарочито сердито махнула Дарья рукой на Треньку. – Хоть бы девки постыдился, – бросила она недружелюбный взгляд на остячку.

– Что ты, Дарья! – воскликнул атаман. – Эта девка видела уже все! Вон – спытай Ивана! – весело подмигнул он Пущину, сбрасывая у двери с плеч на пол шубу.

Шагнув в избу, он словил Машу сильной короткопалой пятерней, звучно хлопнул ее по заднице и смачно рассмеялся.

Пущин косо глянул на него, проворчал: «Оставь девку. Вишь, слезу вышиб».

– Ничего, не убудет! – весело оскалился тот. – Поболе поплачет – помене...!

Он отпустил Машу, прошел в передний угол и сел на лавку за длинный стол, украшенный Федькиной резьбой, за которую Иван не раз уже давал тому подзатыльники. За ним прошли десятники.

Пушин сел с ними за стол, обвел их взглядом. Этих людей он знал много лет, знал, кто и чего стоит, с кем можно уверенно идти за ясаком в дальние волостки или усмирять инородцев. Знал он, что стрелецкий десятник Герасим, мужик хотя и трусоватый, в деле не подведет, стоять будет до конца в тревожные минуты. Его, по-видимому, оберегал инстинкт, как охранная грамота.

«Безголовый, даже заложить не сможет», – подумал он.

Тренька, тот храбрец, бесшабашен, порой до срамоты. Иной раз нарочно дурит. В беде, среди инородцев, или в тайге, не бросит, а вот тому же воеводе, при случае, заложит. Донесет, да еще выгадает себе на этом кой какую прибыль. С ним на государевых посылках надежно, только язык надо держать за зубами. Прежде чем брякнуть что-нибудь, особенно в сердцах, надо оглянуться – нет ли поблизости атамана, или какого-нибудь его послушника из казаков. А их он всегда имел. Ходят слухи, что он берет посулы²² за прибор в казаки кого попало, принимает ясаком вешних и подчеркнутых соболишек. Известно, за добрый поминок, что выходит государственной казне в убыток. Умеет, стервец. И все сходит ему с рук. А оттого, что и воевода в том деле нечист...

«Ну да кто здесь не ворует?» – вяло мелькнуло у Пушина.

Казацкий десятник Иван Кайдалов только что вернулся из Кетска, где жил годовальщиком. Выглядел он усталым, осунулся, в глазах исчез прежний огонек, но появилось что-то новое. На лице, в общем-то мужественном, проступила аскеза монашеской смиренности.

– Ну что, Иван, оклемался? – сочувственно спросил Пушин его.

– Тунгусы замаяли, – ответил десятник. – Воевать ходили. В Кетске сургутских всего два десятка. Так Елизаров собрал остяков. Зырян прислали. Князцы Киргей и Урнук пошли с нами.

– Ну-у, так вас большая сила была!

– Да... Тунгусов побили. Языков поймали зело много. В дороге от ран все померли, почитай, у нас на руках.

Станным был этот десятник. Мужик недюжинных сил. Умен к тому же был, не по чину. И службу тянет как никто иной, отменно, как мул. В походе не упустит мелочи. Надеется только на себя. Сам проверяет караулы, когда стоят станом. В опасливом месте огордится тыном. И казаков гоняет окрест: выведать все, дабы не нарваться на засаду какого-нибудь князца, или пришедших из неведомых земель охочих пограбить государевых ясачных.

Вот эта удачливость Кайдалова и нравилась Пушину. Он стал подражать ему. И своим горбом познал, что это такое. Ломал он себя. Тяжко было, угнетало. Не по нему оказалась такая жизнь...

– Дарья, собери на стол, – попросил он жену, заметив, что гости заерзали на лавках и стали поглядывать по сторонам. – Васятка, подай бражку!

Маша поставила на стол ржаные лепешки, а Любаша пироги с брусникой. Дарья же подала мужикам большие деревянные кружки. А Васятка быстро юркнул за печь. Там что-то загрохотало, посыпалось.

– Осторожно! – крикнула Дарья. – Торбы завалишь!

Васятка вышел из-за печки, натужно кряхтя и прижимая к животу большую деревянную клягу, укутанную в изношенный ватный кафтан. Пошатываясь, он доковылял до

²² Посул, посулок (воеводе) – взятка.

голубца²³. Ставя клягу, он не удержал ее, и она глухо стукнулась о лежак. Пробку вышибло, и в лицо ему плеснулась пенная брага с острым сивушным запахом.

– Рук нет, что ли! – сердито сказал Иван. – Маша, прими! Не то оставит без браги, вахлак!

Маша живо подскочила к мальцу и оттеснила его: «Пусти – я сама»...

Васятка отошел в сторонку, надул губы и сел на лавку вдали от всех.

Федька же точно прилип к столу. Он с малых лет тянулся к мужикам, которые приходили к отцу. И в то же время он обижался на них, что они не принимают в свой круг его, еще губошлепа, как обычно подтрунивали они над ним.

Дарья и Маша наполнили кружки пивом и проворно расставили их на столе.

Федька потянулся было рукой к одной из них, но Дарья шлепнула его по затылку и тихо прошипела: «Кыш-ш!»

И Федька нехотя спрятал руки под стол, с тоской глянув на мать, недовольный, что и она считает его тоже пацаном.

– Ну что, служилые, с возвращением! – поднял кружку Иван.

Гости степенно выпили, крикнули, вытерли широкими рукавами кафтанов бороды и захрустели пирогами.

Хмельная брага разлилась огнем по жилам, и Пущину стало блаженно и легко среди друзей и родных. В избе было тихо и тепло. В печке слегка потрескивали дрова. На столе коптил жирник²⁴. Его слабый огонек испуганно дергался от малейшего дуновения и, казалось, тянулся к людям, словно хотел поведать им о какой-то тайне, скрытой где-то за стенами вот этой неказистой избенки...

Служилые выпили еще, разогрелись, вспомнили былые походы в тайгу. Заговорили они и о необычной московской смуте. Ее эхо докатилось и до здешних мест. Да так, что зашевелились все разом инородцы. И по Сибири пошли слухи об измене многих князьков: те, мол, и православие приняли, и крест государю целовали в верной службе... А вот, поди же ты...

Забыв обиду, Васятка придвинулся к столу. Он сел рядом с Федькой и уставился на мужиков, чтобы ничего не упустить из сказанного.

– В прошлом году, по весне, стрела ходила снова промеж остяков и вогулов. Ты ушел на Москву уже тогда, – сказал Герасим Пущину.

– Да, слышал... Вон даже бабы знают про то.

– Ну-у, тогда дело серьезное! – с сарказмом протянул Тренька, радуясь любой сваре с инородцами. – А ну скажи, что было! Да не упusti чего по малости!

И Герасим рассказал о случившемся в Березове, откуда служилые разнесли слухи о том по всем сибирским волостям.

* * *

На Петров день Тимошка и Лёвка, два березовских пеших казака, погрузили в легкий шитик запасы с оружием, покинули Березов и двинулись вверх по Сосьве. Ездовые собаки привычно потянули лодку, засемили гуськом друг за дружкой.

Впереди пошел Тимошка, придерживая на ремешке вожака. Позади него поплелся Лёвка с длинным шестом, подправляя им бег лодки. И как обычно он завел унылую бесконечную песню, похожую на бредни шамана, которую как всегда покорно слушал его связ-

²³ Голбец – пристройка или ларь у русской печи.

²⁴ Жирник – плошка из камня или глины, заполненная животным жиром или маслом. В ней горел фитиль из скрученной жгутом сухой травы или мха.

чик, уже немолодой казак. В Березовском остроге Тимошка служил со дня его постройки, привык к долгим скитаниям по тайге вот так, вдвоем с напарником, уже не тяготился этим, стал молчаливым и таким же неприхотливым, как остяки.

Затяжное весеннее половодье затопило низкие берега, изрезало их заводьями и сильно сдерживало ход казаков. Поэтому им приходилось часто останавливаться, грузить в лодку собак и переправляться через широкие, залитые водой луга, уходящие далеко в глубь тайги.

Только на пятый день они добрались до места, куда были посланы воеводой.

– Кажется, пришли! – крикнул Тимошка напарнику. – Здесь они! Недалеко! Версты с две, не более!

Если бы казаки не знали этого остяцкого юрта, то прошли бы по реке, не заметили узкую протоку, заросшую тальником.

– Тимошка, погоди, не сворачивай! – попросил Лёвка связчика. Он подошел к нему, осмотрел все вокруг, как будто разыскивал что-то на берегу около протоки. Затем он прошел вверх по реке, вернулся назад, сунулся было по берегу протоки, но ему преградил путь сплошной тальник, и он отступил.

– Что носишься, как пес с отшибленным нюхом? – недоуменно уставился на него Тимошка.

Лёвка смерил снисходительным взглядом его высокую длиннорукую фигуру, по-стариковски поджал губы, что выражало у него крайнюю меру осуждения, и тихо пробормотал: «И таких-то посылают за ясаком?»

– Не понимаешь ты, Тимоха, ничего! – громко сказал он. – Может, у тебя дома так. А тут всегда нужно доглядывать. Сам пропадешь, не за потех, и я с тобой то ж. Здесь тайга!.. Не впервой, а глупишь! Этот юрт не обойти с реки. Вишь, туда кто-то греб на ветке. Пришел по реке, издалека. Теперь смекаешь?

– Не-а! – растерянно отозвался Тимошка, не понимая, что от него хочет этот веселый и, в общем-то, беспечный казак. Правда, иногда он выкидывает какие-то хитрости, вроде этой.

– Сюда в юрт пришел кто-то. Из остяков. Один. А раз один и издалека, значит по вестям, – сказал Лёвка, вытянул худую и тонкую, как у гусака, шею, стал занимательно разглядывать Тимошку.

Тот же в упор вылутился на него, силился что-то сообразить, удивлялся смекалистости своего напарника.

– Ты подумай, Тимошка! Разве остяк пустится куда-то по дальнему пути, когда рыба идет, самый лов?.. Только по вестям, и знатым. А вот каким, то надо выведать. Ну что – пошли?..

Они загнали в лодку собак, сели, заработав шестами, двинулись вверх по протоке.

И сразу же с двух сторон их обступил сплошной кустарник, что нависал до самой воды мелкой протоки с вязким дном, цепко хватающим за шесты. Под тальником было душно от застойного воздуха. И казаки быстро вспотели, отмахиваясь от полчищ атаковавших комаров.

Вдруг Тимошка, сидевший на носу лодки, резко полоснул шестом по воде около берега. Под шестом у него шумно всплеснулась огромная рыбина, чиркнула по поверхности воды хвостом и стремительно ушла от берега.

Тимошка, разомлевший от духоты, сонно процедил: «Щука... Жарко, по береги стоит»...

Лодка двинулась дальше.

Тимошка снова ударил по воде шестом: на этот раз удачно. Подхватив оглушенную щуку, он бросил ее на дно шитика. Дальше дело пошло веселей, и он забухал шестом, шумно вспенивая воду.

Наконец, окружающий протоку лес расступился. И они выплыли на старицу с низкими берегами, покрытыми высокой травой. Впереди, над широкой водной гладью, носились большие мартыны с серовато-черными отметинами на голове. Среди них сновали маленькие проворные плиски²⁵. В одном месте чайки сбились кучей и устроили самый настоящий хоровод. Одна за другой они с криками резко бросались грудью вниз, выхватывали из воды рыбу и взмывали вверх, судорожными глотками пожирая ее на лету.

– На малька, – сказал Тимошка. – Должно быть, окунь...

– А вон, гляди, наши! – показал Лёвка вдаль.

Там, по ходу лодки, где старица загибалась плавной дугой за травянистый отлогий берег, на терраске, недоступной для внешней воды, стояли остроконечные остяцкие юрты. Над одной из них была заметна тоненькая струйка дыма.

– Есть, не ушли! – обрадованно сказал Тимошка.

– Чего радуешься? Тебя здесь ждут? – спросил Лёвка его. – За соболями пришел, а не к теще на блины. Они-то не больно обрадуются.

Он отвернулся от него и тихо пробормотал: «С таким пропасть, что к бабе на печку слазить. И зачем воевода навязал мне его! Вдругорядь, в напарниках, не пойду... Хоть убей – не пойду!»

А Тимошка тем временем взял со дна шитика пищаль и выстрелил в воздух.

Звук выстрела полетел над старицей и вспугнул чаек. Они дернулись всей стаей, рассыпались в стороны, загалдели еще сильнее, но быстро успокоились и опять усердно замельтешили над водой.

Из крайней юрты, должно быть, услышав выстрелы, вышли люди. Они спустились к воде и встали на берегу, приглядываясь издали к гостям.

Казаки подогнались к берегу шитик, вылезли из него и подошли к ним.

– Здорово, мужики! – задорно крикнул Тимошка, шагнул вперед и протянул большую мозолистую лапу старому остяку с жиденькой бородкой и морщинистым, как у обезьяны, лицом.

Тот ослабил желтыми зубами, вяло пожал ему руку и закивал головой, приговаривая: «Здрасте, здрасте!»...

Затем он жестом пригласил гостей в юрту.

Лёвка и Тимошка протиснулись вслед за ним в узкую щель, прикрытую лосиной шкурой.

Юрта была старая, бедная и вонючая. Поверх тонких жердей она была крыта большими кусками березовой и пихтовой коры. В центре, в неглубокой ямке, был сооружен из камней очаг. Рядом, на лежанках, тоже из жердей, валялись потертые олени шкуры, отдающие сладковатым запахом сырой кожи.

Остяки показали казакам на место у очага, сели напротив и молча уставились на них.

Скрытую настороженность хозяев Лёвка почувствовал сразу же, толкнул в бок напарника и придвинул ближе к себе пищаль... То же самое сделал и Тимошка...

Привыкнув к темноте юрты, Лёвка оглядел с любопытством остяков. Их было четверо: невысокие ростом, щуплые. Они походили больше на пацанов, чем на взрослых мужиков. На одном из них он невольно задержал взгляд. Его лицо показалось ему знакомым.

«Где-то я уже видел его, – мелькнуло у него. – Вот только где? Не здешний, это точно... Вот он-то как раз и пришел сюда. Не обманулся я, – самодовольно подумал он. – Где же я видел-то его? Вот напасть-то! И вспомнить не могу... Хм! Так это же кодинский остяк! Голову даю на отсечение – там видел! Ясак с него брал, год назад... Приметный!»

²⁵ Мартын – водоплавающая птица из семейства чайковых. Плиски – чайки.

Он показал взглядом Тимошке на остяка, шепнул: «Не здешний – с Коды». И чтобы разрядить напряженное молчание, он завел разговор с белоголовым стариком о деле, ради которого они пришли сюда.

– А-а, ясак, ясак, – забормотал старик.

– Да, да, отец, недоборный с вашего юрта, за прошлый год! – повысил голос Лёвка, сообразив, что тот глуховат. – Воевода послал, Волинский! – громко крикнул он, зная, что с ясачниками остяки хитрят, сваливают то на одно, то на другое, порой доводят их до рукоприкладства. А вот когда припугнешь воеводой, дело идет исправнее.

Ясак остяки выплатили сполна. Казаки покидали соболей в шитик, туда же забрался Тимошка. И тут Лёвка неожиданно подошел к кодинскому остяку, захватил в кулак его рыбий кожушок и с силой притянул к себе:

– А ты пойдешь с нами!

Остяк испугался и безвольно поплелся за ним.

Тимошка охнул от такого оборота дела и выпрыгнул из шитика с обнаженной саблей, готовый дать остякам отпор.

Но те даже не шелохнулись, стояли, бесстрастно взирали на казаков.

– Повяжи-ка его, как бы не сбежал! – велел Тимошка напарнику.

Лёвка связал остяка, усадил его на дно лодки. И они пошли по старице назад к протоке. И до тех пор, пока с воды были видны юрты, на берегу маячила кучка остяков, с низкорослым кривоногим стариком впереди.

Казаки вышли из протоки, причалили к берегу, разбили как обычно временный стан, развели костер, выгрузили остяка из лодки и бросили его на песок.

– Зачем же ты пришел-то сюда, а? – спросил Лёвка его, присев рядом с ним на корточках.

Но остяк молчал, уставился в землю, не поднимал глаза.

– Что – русского языка не понимаешь! – обозлился Лёвка. – Врешь, все понимаешь! Знаю тебя! На Коде хорошо лопотал! А здесь разучился? А ну глянь мне в глаза, поганая образина! – крикнул он и вздернул вверх его голову за подбородок.

От сильного рывка у остяка лязгнули зубы, и на Лёвку испуганно глянули глаза: темные, упрямые...

– Да что с ним возиться, – сказал Тимошка. – Тут дело особое. Его надо свести в Березов. Пускай воеводы разбираются... А мы давай-ка, обшарим его. Может, у него что-нибудь есть.

Обыскав остяка, Лёвка воскликнул: «Ага!» – вытащив у него из-за пазухи короткую деревянную стрелу с железным наконечником.

– Что это?! – вытаращил Тимошка глаза на стрелу с какими-то знаками, искусно вырезанными по всему ее древку.

– Знамо дело, – сказал Лёвка и стал рассматривать странную находку, которая отличалась от обычных охотничьих стрел инородцев. – Что-то... похоже... – нерешительно пробормотал он.

– А ты спытай его, – предложил Тимошка приятелю и ткнул остяка кулаком в бок: «А ну говори!»

– Не скажет, знаю я их, – сказал Лёвка, косясь взглядом на понуро стоявшего на коленках пленника. – Вот ведь какой занятный народишко: здесь – крепок, а в острожке враз станет хлипкий.

– Его сейчас надо бить, – продолжал подзуживать Тимошка приятеля.

И Лёвка увидел на его физиономии ехидную ухмылку. Тот как будто говорил ему: «Сомневаешься? Испытай, первым все узнаешь. Воеводе покажешь службу. Испытай, испытай!»...

И на Лёвку больше всего подействовала именно эта ухмылка Тимошки. Он завернул в тряпочку стрелу и сунул в мешок.

– Значит, молчиш-шь! – подходя к остяку, тихо сказал он так, что получилось похоже на шипение змеи, которая в гневе предупреждает, что она нервничает, плохо соображает, поэтому горе тому, кто не уступит ей дорогу. – Сейчас я заставлю тебя говорить: и кто ты таков, и откуда пришел, и что за стрела с такими шайтанами...

Он приподнял одной рукой остяка, а другой – коротким сильным ударом опрокинул его на землю. Не спеша, он снова поднял и снова уложил его. Остяка он бил долго. Но все было напрасно. Тот так ничего и не сказал. Уморившись, Лёвка поднял с земли бесчувственного пленника и забросил в шитик.

Казаки переночевали на берегу реки, а утром, поразмыслив, двинулись назад, в Березов.

В острожке они сразу притащили остяка в съезжую. Там они никого не застали и пошли на двор к Юрию Стромилову, второму воеводе. Тот, когда увидел стрелу, забеспокоился, тут же отправил одного казака к Волынскому: сообщить ему об этом. Другого же он послал наказывать всем служилым о сборе в съезжей.

И на следующий день воеводская была набита людьми, в ней стало душно и шумно.

Пришел первый воевода Степан Волынский, молодой, скуластый, в опрятном кафтане. Он снял его, бережно положил на лавку и сел за стол рядом со Стромиловым. Буркнув что-то ему, он нетерпеливо стукнул рукой по столу: «Тихо-о!» – призывая всех к порядку, чтобы начать дело.

– Товарищи, казаки принесли вот эту вещицу! – показал он стрелу. – Похоже, затевается какая-то смута! Посмотрите, что скажете?

Стрела пошла по рукам.

– Иван Мокринский знает, – сказал казачий атаман Истома Аргунов.

– Ты дело говори! – насутился Волынский. – Где сейчас твой Мокринский? На Москве! Потом на Устюг, на Чиво-озеро поедет – за железом. Вернется по летнему пути следующего года, не раньше.

– Это же изменная стрела! – уверенно заявил Ивашка Лихачев, опытный ясачник, знаток обычаев остяков. – Всегда ходила в прошлом, когда остяк затевал обманку!

– Одиннадцать, – пересчитал знаки Стромилов и, зевнув, машинально перекрестил свой рот, скосил глаза на Волынского.

Тот недолго любил его вот за эту показную набожность и выговаривал ему, что он ведет себя не по месту... «Ты воевода, при мне, и не позорь меня! А нет...!»... И тут он обычно прямил в словах, по-воеводски... А Стромилов хмурил лоб и обижался. Это он-то, и не по месту!.. Да если бы этот, Меньшого сын, Степка Волынский, знал, по каким службам он-то, Юшка Стромилов, уже водился. Тот вон был стольником на свадьбе у Расстриги с Маринкой, и все говорит об этом, уже надоел всем. А он-то, Юшка, ходил в приставах при после от шаха Аббаса за добрый десяток лет до того. И помалкивает о том. Встречал же он того посла еще у Нижнего Новгорода от Посольского приказа. А тот шахский посол, Анди-бек, добивался свидания по какому-то тайному делу с государевым шурином, Борисом Годуновым. И Юшка водил посла на ту их тайную встречу... А потом, почти через год, осенью он провожал посла до Астрахани... Так что повидал он уже многое, научен...

– Да, поперек резаны, – уточнил Ивашка и с чего-то повеселел. – Это мы! Из Сугмут-ваш²⁶, духи-де придут за нами!

²⁶ Сугмут-ваш – дословно: «городок из березы» (остяц.), стоявший когда-то в нескольких верстах от построенного русскими острога, давший таким образом имя знаменитому Березовскому острогу.

– Калгашка точно видел такие! В годовальщиках сейчас, на Мангазее! – крикнул какой-то конопатый казак из задних рядов.

Казак и промысловики заговорили вразнобой.

И Волынский, государев стольник, человек по натуре терпеливый, молча закачал головой, наблюдая за речистой казацкой канителью, с воспоминанием о каких-то походах, приметах и еще бог знает о чем, что казаки приплетают всегда не к месту.

– Ладно, к делу! – остановил он их и приказал атаману: «Истома, веди остяка на допрос!»

Кочегомку, так звали остяка, а в этом он не запирался и признался еще Лёвке, привели в съезжую. Просидев ночь в тюремной камере, он приуныл.

Вслед за ним пришел палач и разложил на лавке свой набор инструментов, предписанный ему по штату: щипцы, деревянные колодки, железные подвесные крючья дыбы и жаровню. Вытряхнул он из мешка еще какие-то мелкие железки, ремешки и веревочки.

– Готово, Степан Иванович! – доложил он Волынскому и оценивающим взглядом окинул тщедушную фигуру остяка. – Что делать с этим-то?

– Попробуй, чтобы заговорил.

– Это мы разом. При мне еще никто не запирался долго. Сейчас все скажет: и что надо и не надо...

Палач был человеком из себя неприметным, серым, но уж больно словоохотливым. Это в Березове знали все и терпеливо сносили его болтовню, опасаясь, что, грешным делом, могут попасть к нему в руки, и лучше не заводить с ним вражды.

– Вот иные не думают о вашем брате, – кинул он мельком взгляд на казаков. – Им бы только получать государево жалование. А как сробит – это не их-де сторона. Сделает кое-как и вся тут. Не-е, ты так подай, чтобы самому приятно было смотреть и другим тоже. Ноздри не умеют рвать!.. Ну вот поглядите – разве это работа?! – загорячился он, показывая на Лёвку с безобразно разорванным носом. – Вот если бы ты попал ко мне, не к поляку, имел бы опрятную физиономию. Порвал бы так – видно было б, беглый. Однако и бабы от тебя б не отворачивались. Сейчас же от твоей рожи помереть можно, – ухмыльнулся он. – У-у, страшилище! Га-га!.. Поляк, он ведь не умеет мастерить, не приучен. Не то что наш брат. Вот и не искусник. Ты же позови меня и попроси. Я так сомну – нетомленным будет. Внутри все оборву, а снаружи новиком оставлю... Яков Борятинский засомневался, однако ж, делал ли я дело, когда пытал Басаргу. Тоже по изменному заводу. Испортил он тогда мою работу: повесил остяка. Я просил оставить. Хотел поглядеть: сколько протянет. Басарга-то был не чета нынешним, вот этим, – ткнул он пальцем в Кочегомку, который следил за каждым его движением, разглядывал странные железки, непохожие ни на охотничьи, ни на воинские, и не подозревал, что их готовят для него. – Крепкий был, терпеливый. Да и я то ж терпеливый. Вот только оплошал, поспешил, смял по-быстрому. Потом уже понял – брать его надо было с умом... Другие-то, те хлипче оказались, не моей руки товар...

Он взял большие, с длинными ручками железные щипцы, похожие на кузнечные клещи, и, пробуя, щелкнул ими пару раз.

От этого звука Лёвка вздрогнул, судорожно сглотнул слюну и быстро отвел взгляд в сторону. В одно мгновение у него перед глазами пронеслось лицо палача под Полоцком, когда тот допытывался от него что-то, чего Лёвка и не знал-то никогда...

Палач завел остяка за спину руки, надел наручи и защелкнул замок, продолжая монотонно бубнить между делом.

– При покойном государе, Борисе Федоровиче, служил я у Семена Никитича, его троюродного брата, на Пыточном, – с гордостью обвел он взглядом служилых. – Работы хватало, невпроворот. Это здесь сноровка убавилась. А при государе-то дел всегда много. В одиночку-то и не управиться. Семен Никитич любил порядок. И все чтобы тайно было: бояре

ходили через нас. Я уже не говорю о такой мелкоте, как стрельцы... Бояре-то, народ рыхлый телом. С ними работать тяжело. Остатки-то и вогулы жилисты. Его тянешь, он гнется, а ничего – дюжит. Вот только одну ее, матушку, – ласково погладил он рукой жаровню, – не выносят. К огню не привычны... При царе Димитрии меня сослали сюда. Говорят, за боярина Александра Романова. Он приходился ему каким-то дядькой, али, бог знает, еще кем...

Он перекинул через матицу веревку и потянул ее на себя. Руки у остатка поползли вверх, сухое смуглое тело изогнулось под потолком дугой... И вдруг остаток как-то ловко вывернул лопатки, крутанулся и свободно завис над полом на вытянутых руках.

– Ого! – восхищенно вырвалось у Лёвки, а когда он увидел досадливое выражение на лице палача, то загоготал над ним: «Гы-гы-гы!»

– Ловок, – тихо пробурчал палач. – Такие не гожи на дыбу... Жарком надо, жарком...

Он развел в жаровне огонь, подкинул в нее древесных углей, раздул их мехами, раскалил до бела и сунул жаровню под ноги остатку. Тот взвизгнул по-детски тонким голоском, дернулся вверх и закачался на веревке. Тогда он опустил его вниз и усадил на лавку. Защелкнув на ногах у него колодки, он снова пододвинул жаровню к его голым пяткам.

Только теперь до Кочегомки окончательно дошел смысл всех приготовлений человека, который говорил тихо, ласково, и показался ему дружелюбным. Какое-то мгновение он молчал, затем по избе пронесся животный вой: «А-аа!»

По знаку воеводы палач отставил жаровню в сторону, но так, чтобы Кочегомка видел ее.

А Волынский подошел к остатку и жестким голосом стал допрашивать его: «Куда и за чем шел?! От кого получил стрелу?!»

– Анна, Анна Алачева, Игичея Алачева! – запричитал Кочегомка, извиваясь всем телом и безуспешно пытаясь вытащить из колодок ноги.

– Еще кто?! Кто еще был на измене?! – закричал воевода так, что на высоком лбу у него выступили капли пота.

Кочегомка что-то невнятно пробормотал и замолчал.

– А ну подбавь жарку! – крикнул Волынский палачу, обозленный упорством остатка.

Палач неспешно раздул потухшую было жаровню и опять сунул ее под ноги остатку. Кочегомка заверещал, дернулся и глухо стукнулся головой о лавку. А по избе пополз душливый запах паленого мяса.

– Ну, ты, деловой, языка заморишь! – неприязненно бросил Волынский палачу.

– Тю-ю! То ж от страха! Хм! Какой слабый народишко на огонь, однако... Сейчас приведу в порядок, – с виноватым видом взглянул палач на казаков.

Те, затаив дыхание, наблюдали за его работой. В серой массе лиц мелькнули сурово сдвинутые брови атамана Истома. У Тимошки отвалилась вниз челюсть, а у Лёвки комом перекашивался кадык. Только один Стромилов безразлично взирал на привычную сцену допроса и заметно клевал носом после сытного обеда.

Палач зачерпнул из кадушки ковшиком воды и плеснул ее в лицо остатку. Тот сразу же очнулся и сел на лавку.

– Кто еще был с Игичеевой? – спокойно спросил его воевода. – И где это было? Выкладывай сам, не то будет хуже! Вот – посмотри на него! – ткнул он пальцем в сторону палача, равнодушно ожидавшего его новых указаний.

Кочегомка рассказал обо всем, сбивчиво перескакивал с одного на другое, вздрагивал и косился на палача.

Анна Игичеева ездила на Вах со своим деверем Чумейко. Потом они поехали с сургутской земли в устье Иртыша и там задержались у Таира Самарова. Анна обещала Таиру помощь своих остатков в восстании, обещала также прислать стрелу, как знак начала объединения для этого дела.

– Много говорили, много думали. О стреле говорили, о стреле думали... С Неулко и братьями говорили. Шибко думали!..

Оттуда Анна и Чумейко уехали к себе на Коду. Вскоре Неулко и Таир прислали к Чумейко стрелу с шайтанами. И ее на Коду повез Кочегомка. Затем он поехал со стрелой на Сосьву. И там его взяли казаки.

– Вот этот казак, – показал он на Лёвку. – Сильно бил. За что бил Кочегомка? Моя хорошая! Моя дети есть, жена есть, мать есть, кушать хочет. Чумейко соболя забрал. Всего забрал. Сказал, потом отдам. Когда потом? Моя потом не надо! Моя жить теперь хочет! Потом мало-мало помирай!.. Сосьва пошел с Чумейко. Чумейко толкуй: шайтан-стрела даст знак...

– Дело ясное, – сказал Волынский и обратился к Стромилову: – Юрий Яковлевич, отряди за Чумейко служилых. Брать его надо, пока не ушел в тунгусы. Чую, измена на нем великая. А этого, – показал он на остяка, – запереть в сидельнице. Сторожить – и крепко!

Он поднялся из-за стола, кряхтя потянулся сильным полнеющим телом.

– Все, служилые, на сегодня хватит.

Казаки разочарованно вздохнули, только-только входя во вкус процесса допроса, и один за другим неторопливо вывалились из душной избы. Собрав свой инструмент, ушел и палач. Лёвка и Тимошка отвязали от лавки остяка и отвели в рубленку для аманатов и должников ясака. В съезжей остался Волынский с дьяком и Стромиловым. Они еще долго корпели над отпиской в Тобольск об изменной стреле остяков.

Чумейко казаки нашли на Коде. Тот до последнего момента не подозревал, что над ним грянула беда. Она явилась к нему в виде служилых. Те грубо выволокли его из юрты, увезли в Березов и поставили в съезжей перед воеводой.

– Ох, старик, старик! – с огорчением вырвалось у Волынского. – В такое дело безвинно втянул многих людей.

Старого остяка припугнули палачом.

И тот сразу зашамкал беззубым ртом: «Гаврилка то ж была на шайтан-стрела»...

– А Неулко с братьей?! Говори, не то пытаться будем! – сердито крикнул Стромилов, показав на палача, стоявшего наготове с инструментом.

– Да, да, и Неулко, – закивал головой старик. – Таир то ж... Таир была.

Он замолчал и замер с выражением покорности на желтоватом, иссушенном ветрами лице.

– Мороз карош был, моя Мамрук посылал, – снова заговорил он, окончательно отчаявшись остаться в живых. – Тугуманка посылал, на Обдор посылал...

Он страдальчески наморщил лицо, и голые брови переползли на середину лба, открывая темные, уставшие от жизни глаза: «Мамрук был, долго, долго думал. Со мной пошла».

– Не клепи на него! Хм! – ухмыльнулся Волынский. – Мамрук ездил на Москву, государю целовал крест! За это продал родного отца, сел на его место!

– С татарами тоже снюхался? – спросил Стромилов остяка.

– Моя не нюхала. А татары пошла: Зимул, абыз Бекбаулы, Клеубердей... – стал перечислять старик татар, показывая пальцами на руке.

– И куда же собрались пойти разбоем, а?

– Тоболеск, – ответил старик. – Воевать Тоболеск...

Казаки, плотно набившиеся в съезжую, захохотали: «Хо-хо-хо! Здорово!.. И когда же твоя шайтан-стрела говорила братья за оружие?»

– Моя не договорилась... Моя забыла, – печально произнес старик и опустил голову.

– Как же ты разыграл-то их! Ха-ха-ха! – рассмеялся и Волынский. – Таковую измену замыслил, а когда выступать никто не знает! Молодец, молодец старик!..

Казаки отвели Чумейко в тюрьму и посадили вместе с Кочегомкой. Волынский же отправил с этими новыми вестями посыльных в Тобольск и через Обдоры, по северной дороге, на Москву.

Восстание остяков, еще не начавшись, было обезглавлено в зародыше.

* * *

Герасим закончил свой рассказ и замолчал. В избе стало тихо. За печкой пару раз скрипнул сверчок, как бы настраиваясь. На минуту он затих, затем бодро повел свою размеренную трескучую песню. И от этого в избе сразу стало уютно и спокойно. На какое-то время отступили, забылись все тревожные мысли.

Ни громкие голоса, ни стук тяжелых деревянных лавок – ничто не могло нарушить безмятежного сна Варьки. А вот эта тишина и скрип сверчка разбудили ее, и она захныкала.

Дарья юркнула за занавеску, и оттуда послышался ее негромкий убаюкивающий голос. Варька немного похныкала, зачмокала губами и снова затихла. Дарья отошла от нее, достала из сундука праздничный кафтан мужа и села у камелька подле печки. Прислушиваясь к голосам за столом, она принялась штопать кафтан, протершийся на боку, где обычно у мужа висела сабля.

– Герасим, ты нынче соболевал или нет? – спросил Пуцин десятника.

– По рассылкам замаялся... И зачем соболевать-то, а? – вытянул тот свою тощую шею, отчего стал еще более длинным и нескладным. – Этой зимой ходили в верхние сургутские волостки за ясаком. И там разжились соболишками на поминки. Другой раз то ж выпало с казаками...

– Так ты сейчас с заповедным? – спросил Пуцин и заглянул в его сразу забежавшие глаза.

– Не-е! – лукаво усмехнулся тот в жиденькую бородку. – Выменял торговым. Там, в тайге.

Тренька же, спяну, попробовал было затянуть песню.

Но Пуцин осадил его: «Девку разбудишь!»

– Пускай привыкает, – сказал Тренька. – Она же у тебя за служилым будет. Сызмальства должна знать сию жизнь. Не так ли, Кайдалов? – толкнул он в бок казацкого десятника.

– Так, так, – флегматично ответил тот.

– Должна! – стукнул атаман кулаком по столу. – Кто здесь хозяин?! Кто?! Мы или они?! Это же надо понимать! Там, – махнул он неопределенно рукой куда-то, – может, и они! А тут – ни-ни!.. Когда поедешь, – повернулся он к Пуцину, – мы проводим тебя. Ох, как проводим! Чтобы долго помнил сургутских!.. Говорят, в Томске службишка беспокойна! Будто здесь тихо! Брешут!

Атаман громко икнул, дернулся всем своим могучим корпусом. Собираясь с разбегающимися мыслями, он уставился на слабый огонек лампадки под образами.

Тренька Деев считал себя большим удачником. Службу он начал рядовым казаком еще при царе Федоре. Легко тогда жилось служилым, сытно. И те бездумные годы навсегда запали в памяти молодого казака. При Годунове он пошел в гору: выбился в пятидесятники, за службу верную, зычную и долгую. Ох! и покосился же он по Руси с государевыми посылками...

Восемь лет назад, было дело, снарядил его сургутский воевода Яков Борятинский приставом к нарымскому князю Кичею; тот собрался на Москву.

К тому времени князю Пегой орды Вони уже не было в живых. Сын же его, Тайбохта Вонин, посватался к дочери Вагая, внучке Кичея. Старый Кичей подумал, подумал и наказал сыну породниться с семейством Вони. Он посчитал это для себя честью, несмотря на то что

Пегой орды, разбитой служилыми государевыми людьми, тогда уже не существовало. Но родство это вышло Кичею боком. Много, очень много пришлось претерпеть ему от сборщиков ясака Якова Борятинского. Вот из-за этого и собрался он со своими людьми в Москву: жаловаться на воеводу самому белому государю. По Сибири же в то время прошел слух, что-де новый великий князь Борис Федорович, царь государь всяя Руси, жалея сибирских инородцев, многим поубавил ясак. Иных он освободил от него, если пошли к нему на службу, и оклады положил – немалые. Старый Кичей подумал было об окладе, да и ясак снимут, потом верх взяло природное чувство гордости. И он выбросил эту затею из головы, но решился ехать: хотелось посмотреть на дивный город, великий и большой. Говорят, он как тот остров, что находится вверх по Оби в устье Кети, на котором уместилась вся Парабельская орда. Народа, говорят, в том городе столько, что если собрать всех остяков по Сургуту, Березову и Нарыму, добавить к ним всех вогулов и татар из степей, да еще тунгусов с киргизами, – то и тогда будет мало.

И поехал Тренька со стрельцами сопровождать до Москвы остяков. В дорогу собрались неудачно: поздно, на исходе зимы, в конце января. Тренька стал было отговариваться, что-де не время выезжать, отложить бы надо до летнего пути или на год: по зимнику оно всегда легче.

Но Борятинский не стал слушать его, цыкнул на него и приказал ехать. У воеводы был свой расчет. Он хотел быстрее выпроводить Кичея из волости, так как среди остяков началась шатость. И с ними проще было бы расправиться без него. К тому же его обозлил этот заносчивый стрелецкий пятидесятник. И он решил наказать обоих. Чтобы и на будущее было неповадно Треньке перечить воеводе, он отправил его в конце зимы. Пускай по ненастному весеннему пути помается, поубавит силёнки и прыти.

Из Сургута Тренька выехал вне себя от злости, и в первую очередь на старого Кичея. Понесло же того на Москву именно сейчас, в самую неподходящую пору. И хотя взбесил Треньку воевода, однако испытать его лютость пришлось Кичею. Тренька понимал, что на воеводу злись не злись, от этого ничего не изменится. Это все равно, что кусать воздух: «Гам, гам, гам!»... Все остается по-прежнему. Убытку воеводе никакого от его, Тренькиной, злобы. И он отыгрался на старом Кичее. Благо, дорога до Москвы была долгая и для них тесная.

Для начала, когда они покинули Сургутский острожек и поехали по Оби длинным караваном собачьих упряжек, Тренька отобрал у старика хороших ездовых собак и выдал ему самых захудалых. На них Кичею пришлось все время кричать до одури и бежать рядом с нартами, чтобы не отстать от других. И он терпел и бежал, терпел тяжесть пути и ожесточение пятидесятника. О том, как несладко Кичею, выдавали его темные запавшие глаза и костлявое потное лицо. А на стоянках тот подолгу сидел, покачиваясь, у костра, глядел на огонь и думал, как похожа душа у русского пятидесятника на этого красного зверька: когда горит, то больше жжет, чем греет...

Остяки, ведущие ямскую гоньбу, заметили эту обозленность Треньки на Кичея и стали помогать старику в дороге. Они быстро определили самую сильную и выносливую упряжку, из числа доставшихся им, и подсунули ее Кичею. Незаметно оставляли они старику и корм. Его Тренька раздавал всем подневно на стоянках, стараясь и в этом обделить Кичея. Все стойко сносил Кичей. И этим еще больше бесил Треньку.

Скоро это заметили и служилые, с которыми Тренька отправился из Сургута. Почувствовали они и затаенную враждебность остяков.

Через неделю, на подъезде к устью Иртыша, Юшка Вахрамеев заявил Дееву: «Тренька, ты брось эти штучки со стариком».

– А тебе-то что! – вспыхнул Тренька. – Не суй нос, куда собака!.. – отбрил он казака.

– Мне-то и есть что! Жить хочу! Глянь – остяки волками зыркают! Пришьют ночью, как щенят! Пропадать с тобой, дураком, не хочется! К Таирову месту подходим! Среди них первого изменщика!

От этой наглости казака Тренька еще больше рассвирепел, наорал на Юшку, припугнул, что донесет про эти его речи воеводе в Тобольске. Однако после этой перепалки он одумался, перестал донимать старика и оставшийся до Тобольска путь заботился о нем, как того требовал царский наказ.

В Тобольске князца в съезжей избе встретил воевода Федор Иванович Шереметев. Встретил он его по чести, приветливо, справил как надо подорожную до Москвы. Выписал он и корм остякам и служилым, выдал еще отписки воеводам тех городов, через которые лежал путь Кичея. Всем наказал он держать его в сытости, не в нужде...

Много попетлял с воеводскими посылками Тренька по бескрайней Сибири и старой исконной Руси, прежде чем выбился в атаманы. Достигнув этого тяжелой службой, он уверовал, что только так и следует жить. Поэтому, когда он наставлял молодых стрельцов и казаков, то, бывало, порой бахвалился этим...

От Пущина гости расходились поздно. Десятники кое-как натянули шубу на захмелевшего атамана, подхватили его под руки и гурьбой вывалились из избы.

На дворе яростно залаяли собаки, почуя чужих.

– Васятка! – крикнул сотник, выйдя провожать гостей.

– Что?! – высунулся малец в дверь избы.

– Оденься и проследи, чтоб атаман дошел до дома. Как бы в снегу, спьяну, не замерз. Вишь, холод-то какой, –дохнул Пущин морозным парком. – Собирайся, собирайся, да поживей! Ну что стал! – прикрикнул он на мальчика, видя, что тому не хочется бежать куда-то ночью и он тянет время.

– Сейчас, дядя Иван, шубейку накину! – крикнул Васятка.

Стояла тихая темная ночь. Ярко блестели звезды, и был поразительно прозрачным воздух. Такие ночи бывают разве что на севере, на исходе зимы, когда долгая зимняя стужа вымораживает в воздухе влагу, и на короткое время как бы приоткрывается во вселенную незамутненное окошко.

Пущин равнодушно глянул пьяными глазами на это мерцающее изумрудами звездное небо и быстро заскочил в душную теплую избу, пропахшую резким мускусным запахом от кучно живущих людей.

* * *

Весна пришла ранняя, бурная. Уже на Аринин день зажурчали ручьи. Размяк и просел снег. На речушках и болотцах появились проталины. В ложбинках, тут и там, заблестела снежница. На Сургутке, крохотной и тихой протоке, соединявшейся с Обью как раз около острога, уже проступили забереги. И тайга, оттаивая, затопила зажорной водой²⁷ прачечные и водопойные проруби.

По ночам же талый снег прихватывало морозом, и зернистый наст стал драть камасы²⁸, сапоги и ноги собакам. И в острожек с весеннего промысла, на соболя и белку, потянулись охотники, спеша успеть до половодья.

За два дня до Егория прилетели мартышки и плиски, а за ними утки.

«Нынче река вскроется», – подумал Пущин, прислушиваясь к скрипучим голосам чаек, которые, точно обезумев, заматались над рекой.

²⁷ Зажорная вода (зажера) – вода, скапливающаяся под снегом в ямках и рывинах, на дороге при таянии снега.

²⁸ Камасы – сапоги из оленьей или лосиной шкуры.

К вечеру небо заволокло низкими облаками, упал туман и сразу потеплело. А когда на острожек опустилась темнота, на реке что-то гулко забухало и затрещало, заставляя жителей с беспокойством вздрагивать.

Прибылая талая вода вспучила лед и ночью вскрыла реку.

Наутро все, кто мог ходить, высыпали на берег Оби.

По реке, во всю ее ширь, сплошным белым потоком шел лед. Над ним, противно крича, носились чайки. Они были всюду: мельтешили в воздухе, сноровисто бегали по льдинам. Жадно выхватывая из воды ошметки нечистот и рыбы, они дрались между собой, рвали их на куски, нахально оттесняли тут же копошащихся уток.

Дарья стояла с Иваном на берегу и блаженно улыбалась, зажмурившись от яркого солнца. Подставив лицо слабому ветерку, она прислушивалась к доносившемуся с реки едва различимому шороху трущихся друг о друга льдин. Река дышала холодом, а от земли исходил какой-то сладостный дух, вызывая во всем теле приятную истому. И от этого ей ничего не хотелось, только вот так стоять бы и стоять.

– Скоро собираться, – сказал Иван, взглянул на бледное лицо жены и невольно заметил, что она странно помолодела. Разгладились и куда-то исчезли морщинки, так поразившие его, когда он вернулся из Москвы. Их раньше он как-то и не замечал у нее. А вот, поди ты, с чего-то уже посекали ее лицо...

Дарья машинально кивнула головой, занятая совсем иными мыслями и чувствами. Прошедшая зима оказалась для нее тяжелой. К концу холодов она стала совсем немощной. Ее часто пошатывало, без причины кружилась голова, и куда-то в темноту порой соскальзывало сознание. Вот и сейчас, чтобы ненароком не упасть, она ухватила за рукав мужа. А около нее, в свою очередь уцепившись за ее подол, стояла Любаша, тоже бледная, с синевой под глазами...

С реки Пущины уходили не спеша, когда на берегу все еще было полно народа.

«Будет где потолкаться», – мелькнуло у Ивана о Маше; они оставили ее с Варькой, пообещав, что ее сменит у люльки Любаша и она еще успеет поглазеть со всеми на ледоход.

Они подошли к своей избе и остановились.

– Эх-х! Прикипели мы тут! – вырвалось у Ивана, с затаенным сожалением в голосе. – Привычно... В Томске-то неведомо как будет. Однако место угоднее, вольготное.

– Может, на пашенку заведемся, а? – нерешительно спросила Дарья его.

– А почему нет?! – с задором сказал он, притянул ее к себе и обнял.

Дарья недоверчиво посмотрела на него. Что-то с ним случилось сегодня, каким-то выглядит другим. Еще недавно не захотел бы и слышать ни о какой пашне. Все на службе, да на посылках. Государю прямит честью. А теперь повернул вон как. Надолго ли?.. Вот пройдет весна, и опять станет прежним. С охоткой пустится в какой-нибудь дальний край по воеводскому наказу. Не-ет, она знает его. Не сможет он копаться в земле, сидеть около своего двора. Улетит, как только выветрится хмельной весенний дух. Ну, да она и не рассчитывает на него. Пускай живет, как душа велит. Вот, может, Феденька выйдет иным. Если в нее, то не плохо бы, в старости будет опора...

Неторопливые мысли Дарьи прервал Герасим.

– Здорово, Иван! – громко бросил тот, подходя к Пущинам. – Здравствуй, Дарья!

Иван пожал липкую руку долговязого десятника.

У Герасима было узкое, длинное, похожее на бердыш, лицо. При ходьбе он как-то странно подпрыгивал и относился к той породе людей, которым любая пустяковая работа была в тягость. Он пыхтел и мучился оттого, что тот же Пущин исполнял играючи. Вот и сейчас по его распаренному лицу было заметно, что он спешил к нему с чем-то важным, значительным.

– Дело есть, Волынский зовет.

– Почему спешно? – спросил Иван.

В десятники из рядовых стрельцов Герасима вывел он: вовремя намекнул как-то воеводе, по смерти Никиты Силантьева, об упалом месте, в которое сын того пока не вышел по малолетству. Поэтому Герасим ходил у него в сотне. Но только не все было между ними ладно: оттого, что к стрельцам он был суров, требователен. А это многим было не по нраву. Не нравилось и Герасиму, хотя тот и не подавал виду.

– Отписку Федор Васильевич получил с Нарыма. И дюже стал хмурым.

– Из Нарыма, говоришь? – неопределенно протянул Пущин, сообщая, что там может быть такое, из-за чего сразу зовут его. – Ладно, сейчас буду. Дарья, иди домой. Я к воеводе. И приготовь что-нибудь поесть. Да посытней бы, мясного. Меня по весне всегда шатает, как пьяного.

«Вот так оно и есть. Уже полетел», – разочарованно подумала Дарья и, слегка покачивая широкими бедрами, поднялась на крыльцо вместе с Любашей и скрылась в избе.

Пущин вздохнул, почувствовав, что жена опять недовольна чем-то, и повернулся к Герасиму.

– Ну, пошли, что ли?

– Не-е, иди один! Ему ты нужен. Он сказал только ты. Я к себе. Бывай!

Десятник деловито махнул рукой ему и неуклюже заскакал к своему двору.

Двор Герасима стоял в кривом ряду изб, что протянулись вдоль острожной стены, за которой была протока, Сургутка. Та все еще томилась подо льдом. И от нее в острожек заметно тянуло холодком, напоминало о прошедшей зиме. По льду же протоки, с утра до позднего вечера, катались мальчишки и с визгом замирали у большой полыньи, когда кого-нибудь случайно заносило к ней.

Этот визг, долетавший из-за стены в острожек, разбудил у Пущина картины из его далекого детства. И на мгновение у него что-то мелькнуло, туманное, призрачное, и исчезло. А ведь когда-то и его тоже это захватывало, как Федьку, сейчас гонявшего по льду какую-нибудь деревяшку вместе с Васяткой, уже переростком для таких забав.

От этих мыслей о мальчиках на душе у него стало тепло. Из головы сразу вылетел недоброжелательный взгляд Дарьи. Он чему-то улыбнулся и направился к воеводской.

Там, в воеводской, за своим столом сидел Федор Волынский, средних лет неулыбчивый и серьезный мужчина, прослывший здесь, по Сибири, дотошным и самостоятельным, прослужив в Сургуте уже три года. Тут был и второй воевода, его товарищ и помощник Иван Благой, московский боярский сын. Он был в его же годках, с подпалинкой во всегда смешливо прищуренных глазах. На длинной лавке у стены пристроился Тренька. Здесь же сидели его казаки, Высоцкий и Чечуев. Казаки только что вернулись в острожек. Они едва успели добраться до дома по последнему зимнему пути. Выглядели они исхудалыми. Лица у них обветрили, огрубели, резко проступили глубокие морщины, похожие на трещины в скалах.

Пущин поздоровался за руку с казаками, кивнул головой Тренке, сел рядом с ним на лавку и приготовился слушать воеводу.

– Мы зачем тебя позвали-то, – сказал ему Волынский. – Отписку получили от Елизарова. Непокорно там. Посылал он вот этих, – мельком бросил он взгляд на казаков, – с толмачом Аманаткой, за ясаком в Макуцкую волостку, на Кемские вершины и в Ямыцкую землицу. Сами-то они вдаль не пошли, побоялись. Не так ли, Васька? – спросил он Чечуева.

Казак что-то нечленораздельно забормотал и беспокойно заерзал на лавке.

– Так ведь, Васька, так! – повысил голос воевода.

– Ах вы, сукины дети! – стал стыдить казаков и Благой. – Испугались, вместо себя послали остяков! А тем что?.. Ушли, пришли, сказали: никого не нашли!

– И поделом вам, что Елизаров гонял туда второй раз! – сердито погрозил пальцем Волынский казакам.

Он встал из-за стола и зашагал по избе: невысокого роста, с татарской бородкой, тонкими чертами лица и очень подвижный. И это было явно заметно: что сидеть ему за столом было нелегко. На секунду он задержался подле атамана.

– Вот спроси своих, кого они нашли?.. Никого! Те ясачные подались в тунгусы! Чуешь, Тренька, куда твои казаки загнали их, а?!

– Нет, Федор Васильевич, – невозмутимо ответил тот, действительно не понимая, что от него хочет воевода. – Знаю только, что тунгусские людишки не платят государю ясак.

– Во-во, и не хотят! – подхватил Волынский, и глаза у него загорелись возбужденным огоньком.

Он уже давно задумал снарядить служилых походом на Тунгуску. И, повоевав, привести под государственную руку новых князьков. Этими мыслями он поделился с двоюродным братом Василием, специально нарочным послал ему в Томск записку. Он полагал, что это дело верное, обернется казне прибылью. Об этом братья отписали и в Москву. А там не стали возражать. Когда же дело дошло до исполнения и воеводы запросили помощь деньгами и ратными, все пошло в обычную протяжку. Смута, скудость царской казны и разброд в Приказах делали это предприятие невыполнимым.

– В Кетск приходили с ясаком из верхних волостей князцы, – размеренным голосом начал говорить он, заложил за спину руки, продолжая все так же ходить по съезжей.

Это было верным признаком, что он настроился на долгую скучную речь, следя за которой обычно все быстро тупели и порой сидя засыпали.

– И сказывал Урнучко, слышал-де он от своих людишек: тунгусы-де похвалялись не платить ясак и побить казаков, если придут. Номак же донес: мол, в Мелесскую землицу, по осени, к Исеку приходил киргизский князь со своими людьми и наущал – заодно стоять и на Томск идти.

Пушин слегка тряхнул головой, чтобы не заснуть под равномерное движение воеводы.

– Тунгусов много. От Тунгусского устья, по Тунгуске-реке²⁹ мужиков с триста будет. И место то нам неизвестно. Вот я и думаю, если пойдут по Кети, то непременно выйдут к Нарыму...

Стараясь осмыслить слова Волынского, Пушин только сильнее погружался в сладкую полудрему. Голос воеводы все слабел и слабел, куда-то удалялся... И он не сразу сообразил, что тот обращается к нему. Он вздрогнул, очнулся...

– Ты скоро пойдешь туда. И Тренька с тобой тоже. Так вот, в Нарыме через Мирона наказ от меня передашь в Кетск, Елизарову. Мы добавим ему годовальщиков. Да чтобы жил бережно. Не ровен час, придут киргизы, наделают бед... В Кетске толмачом служит Микитка Осипов. Так шел бы он по наказу Елизарова в Мелесы, сыскать замысел киргиз.³⁰

– Микитка навел добрый извет на Басаргу, – напомнил Благой. – И ныне в том нужда немалая.

– При Якове Петровиче мы ходили на Пегую орду, – сказал Пушин, стряхнув остатки полудремы и собираясь поддержать воеводский замысел. – А князь-то крут был с инородцами. Повесил Басаргу и еще десяток. Не успели и глазом моргнуть. Упредил. Так и в этом деле надо!

И у него в памяти невольно всплыло овальное лицо Борятинского, с густыми темными бровями и волевым подбородком. Тот пришелся ему по душе, и он сожалел, что князь отъехал с воеводства, не отсидев положенного срока.

Волынский поднял руку и остановил его.

²⁹ Здесь речь идет об Ангаре, тогда она называлась Верхней Тунгуской. – *Прим. авт.*

³⁰ В этой книге речь идет только об «енисейских киргизах» – современных хакасах. В начале XVIII века джунгарский хан насильно переселил часть «енисейских киргизов» в предгорья Алатау (современная территория Киргизии). – *Прим. авт.*

– Ты слушай! В Томске передашь Василию на словах, что и я так считаю. Поход нужен на Енисей, большой поход. Наказать киргиз за набеги! – жестко проговорил он, перестал мельтешить перед служилыми и, наконец-то, сел на свое место.

Благой перекинулся с ним парой слов и тут же распорядился послать в Нарым с Тренькой опять Чечуева и Высоцкого, в наказание за прошлое.

– Иван Владимирович, то негоже! – сразу всполошились казаки, сидевшие до того с безучастным видом.

Они сообразили моментально, что у них отнимают промысловое лето, как только что пропала для промысла весна. Это здорово задевало их прожиток. А в этом они уступать воеводам не собирались, уперлись и готовы были стоять до конца.

– Хватит скулить – наплутали, делали собой! – резко оборвал их Волынский. – Тренька, проследишь за этим! – строго сказал он Дееву и обратился к Благому: Доведи до атамана наказ!

Благой громко зачитал наказ Катырева-Ростовского.

Наказом тобольского воеводы Треньке поручалось срисовать старый Нарымский острог, что стоял на острове и был уже тесен. К тому же в половодье его часто заливало, и река, подмывая постепенно берег из года в год, подступила вплотную к его стене. Треньке нужно было досмотреть также новое место под острог и определить, подходит ли оно, как о том писал в Казанский приказ воевода Нарыма Мирон Хлопов. Чертежи и отписки велено было прислать в Тобольск, для отправки в Москву. Если же место окажется подходящим, то Хлопову и Елизарову предписывалось идти с годовальщиками и нарядом на Кецкое устье, ставить там, на раздоре³¹, город.

– В подмогу сургутских пошлем, – добавил Волынский, – как по этому делу пишет Иван Михайлович.

Пущина же невольно кольнула в сердце зависть, что Треньке выгорело важное государственное дело, какое ему никогда и не снилось. И это в то время, когда ему самому придется возиться все лето со своими домашними бабами. Он скосил глаза на атамана. Тот сидел, сурово нахмутив брови, внимательно слушал воеводу, давая понять всем своим видом, что уж он-то выполнит этот наказ, как никто иной. Казалось, в одно мгновение Тренька стал другим. И куда подевалась его сонливость-то...

– Ну, все, служилые, подумайте над этим, – сухо закончил Благой.

Казаки встали с лавки и вышли вместе с атаманом из съезжей.

А Волынский подошел к Пущину и дружески положил ему на плечо руку.

– Иван, захватишь посылку от меня. В Томске передашь Василию.

– Добро, Федор Васильевич, – отозвался Пущин и спросил его:

Остячку-то, Машу, я возьму с собой? Как?

– Твое дело. Только не вывози за Камень. А тут владей... Хороша у тебя девка, – признался Волынский. – Оставь мне, а? Знатную цену дам: не пожалею пятнадцать рублей!

Пущин посмотрел на него, увидел прищуренные, как у кота, глаза воеводы, понял, что хочет тот, и рассмеялся: «Ха-ха-ха! Не-е, она нужна мне самому!»

– Не хочешь – не надо! – с раздражением в голосе произнес Волынский, не в силах сдержаться, когда что-нибудь выходило не по нему.

Пущин почувствовал это и понял, что здорово задел воеводу, сам того не желая. Этого делать не следовало. Вздорить с воеводой было опасно. Волынские сидели на воеводстве по многим городкам в Сибири. А уж тем более в его положении, когда он, Пущин, простой сотник, уезжал от одного брата и ехал под начало другого.

³¹ Раздор – место, где река делится на рукава, протоки.

– Ну, я пошел, что ли? – сдержанно спросил он Волынского, натягивая на голову свой малахай с длинным лисьим хвостом.

– Иди, Иван, иди, – холодно ответил тот.

* * *

Церковь в Сургуте была деревянная, шатровая, с небольшой маковкой на верху. Рублена она была из сосны, без малого уже восемнадцать лет назад, и стояла у городской стены, за которой к Оби круто падал береговой песчаный обрыв. Рядом с ней стояла колоколенка, тоже рубленая из сосны. А на ней висели два медных, позеленевших от времени колокола. От лютых морозов зимой и жаркого солнца летом бревна порядком задубели, потрескались, и постройки обветшали раньше срока.

Внутри же, в просторном помещении, было сыро, холодно и пусто, кругом выпала грязь, с ней сургутские сжились и уже не замечали ее. Впрочем, ничего иного и не могло быть. Все хорошо знали, что поп Маркел с дьячком начисто пропивают те деньги, которые приходят на церковь с Патриаршего приказа.

Прямо от двери, по правую сторону от царских ворот, находился образ Спасителя. К нему приткнулся образ Николая Чудотворца в житии. Слева же обретались образа пророка Ильи и Великомученицы Параскевы. Царские ворота стояли обычно распахнутыми настежь, и за престолом виднелся образ Пресвятой Казанской Богоматери с серебряным венцом и гривенками. Все образа были писаны масляными красками каким-то заурядным мастером. Краски давно поблекли, иконы облупились, и от этого, казалось, святые обнищали и всем своим видом невольно взывали к милосердию. В алтаре, на престоле, лежало громоздкое печатное Евангелие, обтянутое червлёным бархатом, затертым до лысин, и оправленное медными пластинками с изображением евангелистов. В стороне, на жертвеннике, стояло медное кадило, как попало валялись почерневшие от времени оловянные сосуды, кропило, два крашенных покрыва и атласный, рудо-желтого цвета воздух.

На Егория вешнего утреннюю службу в церкви правил сам поп Маркел. Ему помогал дьячок Авдюшко. У колоколенки с раннего утра старался пономарь Николка, созывая на службу тяжелых на подъем жителей острожка...

Дарья перешагнула с Любашей через порог церкви, сунула просвирице Акулинке полущку, взяла свечку и прошла к иконостасу. Она поставила свечку перед иконой Параскевы, перекрестилась и вместе с Любашей низко поклонилась святой.

В открытую дверь церкви одна за другой стали входить бабы. Они крестились, кланялись, ставили под образами свечки и отходили в сторонку.

К Дарье подошла Фёколка, жена пушкаря Якушки, кивнула ей головой и пристроилась рядом с ней.

Фёколка была худой, как сухая щепка, и слабой на передок, как, подшучивая, говорил о ней Иван. Соблазн же в острожке был велик. И она не противилась ему – грешила, и чем охотнее, тем чаще ходила в церковь. У нее было открытое сердце. Она могла часами выслушивать болтовню Дарьи, поддакивая ей, что ту вполне устраивало. И у них сложились особенные, по-бабьи доверительные отношения.

Со смиренным выражением на лице Дарья попыталась настроиться на службу, вслушиваясь в осипший от попоек голос дьячка, заунывно тянувшего: «Господи Иисусе, сыне божий, помилуй мя»...

Но мысли сами собой лезли ей в голову, перескакивали с одного на другое. Сначала она подумала о муже, потом о детях... Задумалась о предстоящем переезде... Чтобы отмахнуться от всего этого и почувствовать благодать, какая иной раз нисходила на нее в церкви и уносила куда-то в блаженное состояние, она легонько трянула головой. Но сегодня что-то

мешало ей. И она стала озираться вокруг, ища причину своего раздражения. Скосив глаза, она заметила в углу церкви жену Яцко Высоцкого.

«Приперлась!» – неприязненно подумала она о Литвинихе, сообразив, что та в очередной раз испортила ей выход в церковь.

Литвиниха была бабой грудастой, нахальной и крикливой, как сорока. В Сургуте она появилась вместе с Высоцким. Тот подцепил ее где-то в Казани, откуда его, поймав как беглого, сослали сюда восемь лет назад. В острожке она быстро перессорилась со всеми бабами и вольготно зажила на своем дворе, лихо приторговывая вином, которое курила, не страшась грозы воеводы.

Двор Высоцких стоял рядом с двором Пушиных. И Дарья испытала на себе в полной мере все прелести этого соседства. Она безошибочно научилась определять по визгу и пьяной брани, что Яцко вернулся из очередной воеводской посылки и выясняет отношения с женой. Кто из них кого заводил, разобрать было невозможно, также как распознать жертву потасовки. Бывало, и Яцко выходил со двора с опухшим лицом и разбитой головой на следующий день после шумной драки.

Родом Яцко был из литовской земли, порубежной со Смоленском. В Сибирь же он угодил как и Андрюшка Иванов, когда попал в плен. Но в отличие от того, он дважды пытался бежать обратно на родину, и оба раза неудачно. Едва он перебирался за Камень, как тут же оказывался в руках стрельцов на каком-нибудь из ямских станов. Подорвав в бегах силенки, он успокоился. Его поверстали в казаки и он стал исправно нести службу. Из последнего же побега он привез с собой в Сургут бабу: неопределенного рода и племени, насколько обильную телом, настолько же красивую и скандальную. Никто толком не знал ее имени, и все называли ее просто Литвинихой.

И, порой видя ее в церкви, Дарья недоумевала, верит ли та в бога и как он принимает ее такой-то вот. Она недолго любила ее с того времени, как заметила, что Иван проходит с охоткой мимо двора Высоцких, когда идет в воеводскую. Хотя нужды в том не было: двор Литвинихи удобнее было обойти сторонкой. Но нет же – так ходил и его приятель Тренька. Да и иные сургутские мужики сворачивали на кривую тропинку, что протоптали подле двора Литвинихи. Вот из-за этого-то и ополчились на нее все бабы. Тогда как тощей и невзрачной Фёлке все прощалось. Ту все жалели, как жалеют на Руси убогих и нищих, которым подают кто что может, чем богаты...

За дорогу домой из церкви Дарья выговорила с Фёлкой и сняла раздражение от встречи с Литвинихой. К себе на двор она вернулась в хорошем расположении духа.

В это время Иван тесал топором доски для сундуков, готовился в дорогу. Ему помогал Васятка. Тут же крутился Федька. Толку от него было мало, и Иван прогнал его:

– Иди, помогай мамке! Там от тебя больше проку!

– А чем он не угодил тебе?! – вступилась Дарья за сына, увидев у него на глазах слезы.

С тех пор как у них на дворе появился Васятка, она стала замечать, что Иван больше времени проводит с ним, а не с сыном. Правда, Васятка был старше Федьки и в работе от него было больше пользы. Но все равно она не могла смириться с тем, что тот оттесняет Федьку от отца. Федька был у них единственной надеждой, поэтому она баловала его. И тот пользовался этим во благо себе. Иван же, напротив, был строг к сыну. Он знал, что того со временем поверстают в его место, и его надо было готовить к тяготам низовой службы. Вот это-то до нее, до Дарьи, не доходило. Вернее, она понимала все по-своему, по-бабьи. Поэтому Иван зачастую сторонился сына только из-за того, чтобы лишний раз не скандалить с ней. И вот теперь, когда у него появился помощник, это сразу все выплыло наружу. Федька почувствовал это, тоже стал избегать его, принял сторону матери.

– Мне нужен работник, а не баловство, – не поднимая глаз, пробурчал Иван, продолжая тесать доску.

Дарья смерила сердитым взглядом две склоненные над сундуком головы, молча повернулась и пошла к избе. Вслед за ней нехотя поплелся Федька, погрозив Васятке кулаком так, чтобы не видел отец.

У крыльца Дарья, в сердцах, пнула подвернувшуюся под ногу курицу. И та перелетела с кудахтаньем через забор.

– Чем она мешала-то тебе?! – сердая, крикнул Иван. – Птица-то бессловесная! Ты бы лучше приставила девок к работе! Мешки шить на дорогу! А то вон, как и Федька, гоняют собак по двору!..

Дарья смолчала, уловив по его голосу, что он заведется сейчас почище ее. Тогда на дворе начнется перепалка, как у Высоцких. И Литвиниха вывалится тут же из своей избы и, как бы занятая делом, завертится подле их забора. А вот этого Дарья не вынесла бы. Уж лучше пусть он подавится своим Васяткой, чем она доставит радость этой сороке.

– Пойдем, что ли, отец велит робить, – недовольно подтолкнула она Любашу к крыльцу избы, заметив, что та не хочет уходить со двора и поминутно косит глазами в сторону Васятки, что еще сильнее подогрело ее неприязнь к мальцу.

«Скорей бы он определил его в стрельцы!» – подумала она, не зная, как выжить Васятку со двора.

Весь день Пущин и Васятка копошились во дворе, постукивали топорами, мастерили сундуки и ларчики для дальней дороги. Затем их, для крепости, женщины обошьют кожей. Стояли белые ночи, и они возились долго. Наконец, Иван закончил работу и распрямил спину.

– Все, хватит на сегодня. Иди, отдыхай, – сказал он Васятке только тогда, когда Дарья уже давно распустила своих помощниц, Машу и Любашу.

Федька же сбежал куда-то самовольно. На двор он вернулся в сумерках и незаметно проскользнул в сараюшку. Там он отодвинул в углу половую доску и протиснулся вниз, под сруб, в укромное местечко, неизвестное никому. Он сделал его сам: вырыл под срубом яму и натаскал туда, как белка, всякого тряпья. И, бывало, он отсиживался там после грозы от матери или отца, а то просто отлынивал от работы по двору... Рядом, почти над самой его головой, за сараюшкой, кто-то тихо разговаривал. Сдерживая дыхание, чтобы не выдать себя, он осторожно вылез из своего логова, обошел сараюшку и выглянул из-за угла.

На бревнах, у сараюшки, сидели Васятка и Любаша и о чем-то шептались. О чем они говорили, было не слышно. И Федьке стало скучно торчать за углом, он выскочил из-за угла, запрыгал на одной ноге и завопил: «Жених и невеста – из одного теста!»

– Федька, а ну иди отсюда! – закричала на него Любаша, быстро отстраняясь от Васятки.

Федька покривлялся, подурачился и убежал. Он не стал ждать, когда в дело ввяжется Васятка, силу которого он уже испытал.

* * *

С утра Якушка никак не мог оклематься от вчерашней попойки с острожным воротником Семейкой. А напились дружки на радостях от вести, что дошла до Сургута, будто бы на подходе были суда с хлебным жалованием и их ожидали на следующий день. Отхаркивая густую вязущую слюну, он тяжело выполз во двор и плеснул в лицо холодной воды. От этого легче не стало. И он, пошатываясь, зашел обратно в избу, сел за стол и нехотя стал жевать квашеную капусту. Ее на похмелье ему всегда давала Фёколка. Он поел, привычно обругал жену, вышел из избы и поплелся в съезжую, куда ему было велено прийти.

На душе у него было отвратительно, ну хоть топись в Сургутке. И не оттого, что напился до крестного знамения. То дело обычное. Скверно было от жалости к самому себе.

Она грызла, разъедала его изнутри, заставляла пропивать все, вплоть до последнего кафтана. Вчера вечером он угощал дружков, дважды бегал к Литвинихе за горячим вином, отдал ей остатки хлебного запаса и даже задолжал: взял вина под новый оклад. Тот должен был вот-вот подойти из Тобольска. Вечером к нему приходил еще кто-то из служилых. Он уже и не помнит кто. Дружков он угощал щедро. Угощал даже своего недруга – Петьку Скорняка по прозвищу Кривой, весельчака и буйного пьяницу. Скорняк, до того как его прибрали на службу в верхотурском кабаке, был гулящим, скитался по Закаменью и успел много набедокурить. Он любил прихвастнуть, сочинял всякие небылицы, собирая вокруг себя охочих до баек служилых. И вчера, напившись, он, по укоренившейся привычке подражаться, побил Якушку. Это пушкарь еще помнит. Помнит, как упал, запрокинулся назад через козлы, что стояли во дворе, задрал высоко ноги, уставился вверх и стал тупо разглядывать пустое приполярное ночное небо. И тогда у него мелькнула горькая мысль: что Петька – сволочь, любит выпить на дармовщину. А после того еще возьмет и побьет, просто так, от скуки. Так он и уснул на козлах и уже не слышал, как дружки, передравшись, расползлись по своим дворам...

У съезжей Якушка нерешительно потоптался, затем потянул на себя дверь и сунул в щель голову. Приглядевшись к полумраку избы, он увидел второго воеводу и кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание.

Но Благой, не замечая его, сосредоточенно разглядывал что-то в маленькое оконце.

Пушкарь кашлянул громче. Придав осипшему голосу солидность, он поздоровался: «Доброго здравия, Иван Владимирович!»

– А-а, это ты! – обернулся воевода к нему. – Ну, заходи, заходи! Не жмись за порогом!

Якушка шагнул в съезжую и остановился посреди нее, не решаясь подходить ближе. Вместе с ним в избу ворвался холодный утренний воздух, шибанул по ней сивушным перегаром и крепким мужицким запахом.

– Опять надрался! – поморщился Благой и брезгливо отвернулся. – У-у, харя-то какая! Не стерпел!

– Да то ж не я, – просипел Якушка, отвел взгляд от воеводы. – Упоили, воротошники... Вот те крест упоили! – быстро перекрестился он.

– Силком, поди?

– Угу!.. То не совсем. И по охотке было.

– Хочется, говоришь, – хмыкнул воевода, не удержался и рассмеялся сочным басом: «Ха-ха-ха!» – глядя на сизую физиономию пушкаря. Вволю насмеявшись, он достал платок, вытер слезлившиеся глаза.

– Ты верно сказал: иногда и хочется. И как стерпеть-то, в такой дыре, а? – спросил он пушкаря и подумал: «Дыра-то дырой, а вот здесь, за Камнем, хорошо бы подольше посидеть, пока на Москве не успокоится»...

Якушка ничего не ответил, захлопал глазами, все также стоя посреди пустой избы и переминаясь с ноги на ногу.

– Ты не забыл, зелейная душа, о чем я толковал с тобой два дня назад? Или снова говорить?

– Ни-и, я памятливей!

– Ну, гляди. Суда на подходе. Встретить надо и вдарить. Да не вдарь раньше, и не запоздай тоже!

– Не сомневайся, Иван Владимирович. Фролов знает дело, – оскалился щербатым ртом Якушка, сообразив, что грозу пронесло стороной.

Он взбодрился, помял в руках шапку, глянул на воеводу.

– А может, два раза, а? Я ж могу. Народу веселье, и затинная истомилась. Она ведь для бою делана. А любая штуковина в деле токмо крепчает. Вот наш брат, мужик, ежели без бабы, то и не мужик более...

– Ну ты и любомудрец! – сказал Благой, внимательно приглядываясь к пушкарю. – Ладно, вдарь три раза! – согласился он, загораясь мальчишеским азартом. – Только холостыми! Не то вмажешь картечью – людишек посшибаешь! Гляди у меня! – строго погрозил он кулаком ему. – Самим тогда выстрелю!

– Иван Владимирович, соль нынче будет с Тобольску, аль не ждать? – совсем уже осмелев, спросил пушкарь воеводу.

– Соль в полоклады. И то за прошлые годы. Колмак отнял озера. На жалование посылать из Тобольска нечего. Так и Иван Михайлович сообщает.

– А-а, – разочарованно протянул Якушка; он рассчитывал отдать Литвинихе за вино солью.

– Ладно, пошли, зелье отмерю, – подтолкнул Благой пушкаря к выходу из съезжей...

Прижимая к груди горшки с зельем, Якушка взобрался по крутой лестнице на башню, протиснулся в узкую дверь и плюхнулся рядом с затинной пищалью.³²

После угарной пьянки бешено стучало сердце, в голове стоял сплошной звон, будто кто-то равномерно бил болванкой, загонял шпонки в бревна сруба, когда их нанизывают друг на друга. Было тяжело и в то же время истомно от разлившейся по всему телу противной слабости.

«Вот так и подохнешь однажды... И не будет Якушки», – подумал он, и ему опять стало жаль самого себя.

Он сморщился, захлюпал носом.

«А Фёлка даже не поплачет, не вспомнит... Точно не вспомнит. Вот сука!» – привычно, со злобой, подумал он о жене; та уже давно изменяла ему: гуляла с десятником Фомкой, сначала втихую, а сейчас уже не скрывалась.

Попервоначалу Якушка хотел было проучить ее. Потом плюнул, смирился, поняв, что либо его изувечит десятник, либо бросит Фёлка и уйдет к тому же Фомке, или к какому-нибудь другому одинокому служилому. В острожке их было немало и они так и приглядывали, как бы отбить жёнку у иного зазевавшегося... Голодно было в Сибири без хлеба, голодно было без соли, голодно было без баб...

Якушка отогнал непрошенные мысли и поднялся. Постанывая от похмельной головной боли, он осмотрел затинную, любовно похлопал шершавой ладонью по гладкому холодному металлу, аккуратно смахнул со ствола пыль. В углу башни он нашел шомпол и прошелся взад-вперед шаберкой по каналу ствола. Затем он опрокинул из горшков зелье в темную горловину пищали, туго забил туда большой пыж и высыпал остатки пороха на зелейник.

Якушка любил пушкарское дело. К нему он относился со всей серьезностью, на какую был способен. Он понимал, что если как-нибудь не уследит, то так ахнет, что не будет ни его, Якушки, с его гнилыми потрохами, ни башни. Снесет, может быть, и половину острога...

Он справил затинную, высунулся в узкую щель бойницы, глубоко вдохнул свежий воздух и окинул взглядом с высоты башни знакомый до мелочей острожек.

По дворам буднично копошились бабы и бегали ребятишки. Куда-то спешили по делам служилые. Снизу, с реки, дул прохладный ветерок и раскачивал из стороны в сторону высокий столб дыма, выписывающий замысловатые зигзаги.

«То ж Яцкина жёнка палит, как труба», – мелькнуло у пушкаря.

С высоты башни отчетливо бросалось в глаза, что иные дворы совсем запустели.

³² Зелье – порох. Пищаль затинная – артиллерийское оружие малого калибра.

И Якушке стало жаль острожѣк, из которого постепенно разбегались люди. Вернулась жалость и к самому себе. Подспудно он догадывался, что отсюда ему уже никуда не уехать, здесь же и похоронят.

«Немного уж осталось», – слезливо подумал он, вспомнив вчерашнего бесенка.

Тот появился откуда-то во время пьянки и стал донимать его. Он испугался, перекрестил его. Но маленький вертлявый обитатель преисподней, вместо того чтобы сгинуть, вызываясь завертел длинным крысиным хвостиком, показывая ему свою потертую задницу. И Якушка затрясся от страха, заплакал, стал неистово класть на себя крестные знамения одно за другим. Так что казаки даже протрезвели: Якушка-то ни разу в жизни не перекрестил лба, порога в церковь не переступил, к тому же попу Маркелу... А тут на тебе! И Скорняк, изгоняя из него нечистую силу, окатил его холодной водой из бадейки, под громкий гогот пьяных дружков.

Всю свою жизнь Якушка бахвалился, а вот после вчерашнего сжался, притих...

«Вон и Мироха выполз, – увидел он казака, с которым гулял вчера. – Как его качает-то».

– Мироха-а! – громко крикнул он.

Казак оглянулся вокруг. Ничего не заметив, он нетвердой походкой двинулся дальше.

Якушка от восторга хохотнул и, разыгрывая его, рявкнул: «Стой, кашеев сын!»

Мироха остановился, медленно обернулся и глянул наверх башни, из бойницы которой торчала голова пушкаря.

– Ты что, зелейная гнида, пугаешь людей! – прорычал он и погрозил ему здоровенным кулаком, чуть меньше Якушкиной головы.

– Пошто такой злой, с утра-то? – заискивающе протянул Якушка, сообразив, что хватил лишку и казак может тяжело отделать его, несмотря на дружбу.

– Гляди у меня, вонючий козел! – смачно сплюнул Мироха и пошел дальше.

Якушка же быстро протиснулся сквозь узкий лаз башни, скатился по лестнице вниз и свалился на землю, обессилив от бешеных ударов сердца. Отдышавшись, он поднялся и поплелся домой.

У двора Литвинихи его остановил громкий бабий крик и знакомый басистый голос Треньки Деева. Пушкарь повернул за угол избы и с любопытством заглянул во двор.

Там, уперев руки в бока, стояла Литвиниха. Напротив же нее взъерошился петухом атаман и кричал на нее, а та ни в чем не уступала ему.

От снедавшей его тоски и желания развлечься, пушкарь бочком вошел во двор, приклонился к углу избы и стал с интересом наблюдать за перебранкой.

– То ж от оводу курево! – отбивалась Литвиниха от атамана.

– Я тебе дам, зараза, курево! – грозно рявкнул Тренька. – Вишь, сухмень зело велий! Затравишь острог!

– Так вода же кругом! – удивленно уставилась Литвиниха на него.

– Что вода, что вода! – вскипел Тренька. – Припасы погорят!

– Тю-ю! Так они еще на привозе! – воскликнула Литвиниха, затем, должно быть, что-то сообразила, подбоченилась, выставила вперед полную грудь и, покачивая бедрами, стала наступать на него: – А может, ты по этому делу!

– Иди ты..., дура! – взвился Тренька; в другое время он не прочь был бы потискаться с ней, а сейчас только разозлился.

Он заскрипел зубами, забегал вокруг нее. Заметив глазевшего на них Якушку, он подскочил к нему, хлопнул широкой ладонью по хлипкому организму пушкаря и толкнул его на середину двора:

– Во! Он тебе сейчас растемяшит, тетѣха, что будет коль затравится зелейный!

От удара тяжелой лапы атамана внутри у пушкаря что-то болезненно ёкнуло и отдалось тупой болью в животе, напомнив о вредной бабе, что стояла сейчас перед ним, которой он пропил все свое жалование.

– Ты, Литвиниха, что делаешь? Меня чуток не заморила. Отойду, ей-ей отойду с твоей браги... Ведь с бадьяну она, стерва, такая злющая!

– То ж для крепости! – отмахнулась от него Литвиниха.

– Ты в убийство свела меня, – сморщился Якушка от жалости к самому себе. – А теперь острог снесешь. Ты, баба-дура, без ведения! Зелейный запалишь – так ахнет! Острог как шиликун³³ слизнет! – присев, он выпучил глаза и широко развел руки, чтобы нагнать на нее страха. – Бац!.. И-и нет острога! Разнесет, всех разом! Море, ямища будет! Аж стрельница сгинет туда!..

Литвиниха расхохоталась над ужимками плюгавенького пушкаря, затем подхватила его под бока и с криком вытолкала со двора.

– А ну катись! Иди, иди! Раскумекай это своей Фёлке! Может, она забоится такого, как ты! Фомка ее пугает! У того есть от чего бабе-то сробеть!

Она разошлась, в гневе подскочила и к Дееву:

– И ты пуляй за ним! Иди туда же! А еще атаман!

Она выпихнула его со двора и, крикнув: «А чтоб тебе!», – хрястнула калиткой о прясло.

Тренька корявым жестом покрутил рукой около своей головы, показав ей этим что-то, и пошел догонять пушкаря.

На соседнем дворе беспокойно зашумели куры, и Литвиниха, глянув туда, только сейчас заметила, что из-за забора за ней наблюдает соседка, Дарья Пущина.

– Что это он? – ехидно спросила Дарья ее, поняв, что Литвиниха заметила ее.

«Тут как тут!» – язвительно подумала Литвиниха.

– Не пьет и с бабами не водится, на службе атаман! – насмешливо ответила она и скрылась в избе...

После обедни с башни ударила холостым выстрелом пушка.

Жители Сургута поняли, что означает этот сигнал, и высыпали на берег Оби.

С угловой башни острожка снова громыхнул выстрел затинной пищали, выбросившей из амбразуры столб густого темно-серого дыма. В ответ на берегу реки раздался дружный вопль, и с крутого песчаного яра к воде с визгом посыпались мальчишки.

Вдали, на реке, показался караван судов. Люди на берегу оживленно затолкались. Кто-то, спяну, крикнул: «Ура!»...

Крик подхватили десятки голосов, и вверх полетели колпаки и шапки.

На острожной башне в третий раз глухо ударила пушка.

И на берег реки тут же спустились Волынский и Благой, где их уже поджидали казацкий голова Федор Тугарин с Деевым и Пушиным. Подошел и поп Маркел с тощим, как палка, дьячком Авдюшкой.

А по реке к городу шли кочи и дощаники³⁴. Ветер тянул вкось по широкой долине со стороны пойменных заливных островов, надувая паруса, гнал суда вверх по течению.

На подступах к острожку там, на судах, засуетились люди, стали убирать паруса. И суда, скользя по инерции, один за другим начали подходить к пристани. Головной кочь мягко ткнулся носом в песок, с него полетели чалки. Казаки подхватили их, подтянули судно ближе к берегу.

³³ Шиликун (вятск.) – нечистый дух, черт; злой домовый; так называли его на Вятке; по-видимому, Якушка был родом оттуда. – *Прим. авт.*

³⁴ Кочь (коча) – большое палубное парусно-весельное судно. Дощаник – речное плоскодонное (весельное или парусное) судно.

Не дожидаясь, когда скинут сходни, первым на берег прыгнул рослый мужик с курчавой русой бородой, иссиза-голубыми глазами и красной обветренной рожей. Широкая ферезь³⁵, по летнему расстегнутая и развевающаяся на ветру, не стесняла походку сильного и уверенного в себе человека.

– Так то же Семен! – радостно закричали сургутские. – Семен, а ну иди сюда!

Но голубоглазый, помахав им рукой, подошел прежде всего к воеводе.

– А-а, Неустроев, здорово! – протянул Волынский ему руку, добродушно проворчал: – Силищи-то у тебя на дюжину хватит, – когда тот энергично потрянул ее.

Благой похлопал Неустроева по плечу:

– Как дошел? Как река?

– Ну, ты уж сразу за расспросные речи, – остановил Волынский его. – Дай десятнику похорошеваться с людьми. Иди, иди, – сказал он Неустроеву.

Тот обошел стрельцов и казаков, поздоровался со всеми за руку, затем вернулся к воеводе.

– Отписка тебе, Федор Васильевич, от Катырева-Ростовского. И две грамоты. Одна сюда, другая в Кетск, Елизарову.

– Это потом, – остановил Волынский десятника. – Ты сейчас дело говори – народ ждет.

Семен повернулся к служилым, увидел по глазам, что их волнует.

– Обрадовать, казаки, нечем! Соль в полоклады, и то за прошлые годы! – развел он руками, как будто это зависело от него и он сожалеет, что подвел их.

Сургут существовал только на государевых окладах. И его жители часто терпели нужду в хлебе и соли, которые доходили сюда с опозданием на год, а то и на два.

– Почто так, Федор Васильевич? Без соли в тайге негоже!.. По посылкам ты пойдешь, что ли! – возмутились казаки и стрельцы. – Голова идет кругом!

– Пить надо меньше! Тогда и голова будет на месте! – отрезал Благой.

– Пить нам или нет, о том государю указ чинить! Ему же от питухов³⁶ и в прибыток!

– Тихо! – гаркнул Тренька. – Что шумите! Дай сказать человеку! Говори, Семен! – крикнул он десятнику. – Да громче, чтобы всем слышно было! Особенно тем, у кого уши, спяну, заложило!

Неустроев сообщил, что на соляные озера под Тарой пришли черные калмыки и стеснили добычу. Не будет соли полным окладом и на следующий год. Но он обрадовал всех тем, что привез ячмень, крупу и толокно, присланные в Тобольск из Перми и Чердыни.

– Все, казаки, на сегодня все! – сказал Благой, когда Семен закончил говорить. – Погалдели и хватит. Пора разгружать. Атаман разведет по судам.

– Да ты скажи, когда будешь давать оклады? – снова прицепились к нему служилые. – Народ поиздержался, есть нечего!

– Ну-ну, так уж и нечего! – ехидно поддел казаков Пущин.

– А ты, Иван, не лезь куда не следует тебе! – раздались раздраженные голоса. – Ты еще не власть, чтобы указы чинить!

– Спокойно, товарищи! – прикрикнул на служилых Волынский. – Вот голова³⁷ примет – потом раздадим! Прежде разгрузить надо!.. Тугаринов, Деев, что стоите! Дело делайте!

Тренька засуетился, стал выкрикивать служилых своей полусотни:

– Савелий, Давыд, Федька! Ко мне, сюда! Артемка!.. Григорьев!..

³⁵ Ферезь (ферьязь) – верхнее мужское платье без воротника и без талии, с длинными рукавами.

³⁶ Питух – человек, пристрастный к чрезмерному употреблению хмельных напитков; довольно расхожее в то время слово; питуха – пьянка.

³⁷ Голова – военное или гражданское должностное лицо; обычно в то время городовой головой в Сибирь посылали в составе воеводской «команды» из устюжских или сольвычегодских торговых мужиков, ведать хозяйственной стороной города; финансовую же сторону вел воевода.

Он пересчитал казаков, расставил их по местам.

– Остальные с Герасимом на подводы и в амбары! – приказал Тугаринов.

Казаки и стрельцы побросали на песок кафтаны, засучили рукава, и те, что были покрепче, полезли на суда. С них они вереницей побежали по скрипучим шатким сходям с мешками на спине. На берегу они ловко кидали их на телегу, подле которой стоял и принимал груз Тренька.

А Волынский и Благой, прихватив Неустроева, ушли с берега. Вместе с ними послушать новости ушли Пущин и поп Маркел. В воеводской все шумно расселись по-домашнему на лавках.

Волынский сразу же приступил к делу, потребовал от Неустроева:

– Давай грамотки и рассказывай.

– А что?

– Все: как дошли, как река...

Из Тобольска, как рассказал Семён, суда вышли на Егорьев день вниз по Иртышу. Они прошли Ячин яр и за ним стали у юрта Воинкова. Там суда простояли полдня и двинулись дальше. Через две недели они подошли к устью Иртыша, к Самаровскому яму, к месту, где сливались две могучие сибирские реки и образовывали бесчисленные протоки. И там они уткнулись в берег Невулевой протоки. Затем они чуть сплывались вниз, до Шапшина яра, и встали у речки, с версту от юрта. Опасаясь великих льдов, что шли из Оби, Неустроев отвел свой караван версты с три назад и велел причалить теперь к левой стороне Невулевой протоки. Место оказалось сорное, но суда вынуждены были простоять там четыре дня. На них ожидали, пока сойдет лед. Затем они прошли два дня вверх по Оби, все по протокам, под парусами, и снова встали. Теперь их прижал в заостровке лед. У Селнярского плеса они простояли еще четыре дня: из-за льда, что шел с Оби целыми горами. Потом они двинулись по Тундеревой протоке и задержались у остояков. Когда же они вышли к Бутурину плесу, то ударил злой ветер и посрывал с некоторых кочей паруса, пошла крутая волна. Дощаники закачало, они забились в затишье у бора и только там отстоялись в непогоду...

– Хватит про это, – прервал его Волынский. – Как на Москве, что слышно?

– С Обдор-то через вас гонят на Томск! – удивленно уставился Семён на воеводу.

– То же путь дальний, – сказал Благой. – Когда еще доходят?

– Троицу освободили от осады. Только что до Тобольска дошло, – сообщил Семён.

Поп Маркел торопливо вскочил, перекрестился в передний угол, на икону:

– Слава тебе, Божья мать! Отстояли святыню православную! Наконец-то дождались светлого дня!

– Вот-вот! – выпалил Семён. – Про это и я хотел сказать: Скопин, говорят, пойдет на Тушинский стан! Поляк и побежит от Москвы!

В съезжей сразу стало по-праздничному оживленно. Далекие события в Москве затрагивали многих из них.

– Да-а, знать, плохи его дела! – просиял лицом Волынский.

Он вспомнил родной двор: неброский, среднего достатка, в Заниглименье, и отца с матерью. Они жили там уже два года в осаде. Если Скопин освободил Троицу, то, значит, стоит рядом. На Москве, говорят, голодно, цены великие. Да отец-то, наверное, припрятал что-нибудь на черный день... Дома он не был уже три года. Васька же пятый годок сидит в Томске. С ума сойти! Эдак проведет всю жизнь в Сибири. И нравится же... «Эх! что за порода!»... Он вспомнил, что двоюродного брата отправили на воеводство в Томск еще при самозванце, при Гришке Отрепьеве, да так там и забыли дьяки Казанского приказа в суматохе смутного времени. И у него были все основания быть недовольным на брата за то, что тянет род к захудалости, так долго высидывая на воеводстве на самом краю государевой земли.

От нахлынувших воспоминаний его отвлекла громкая перепалка в съезжей: поп Маркел кричал на Благово, выколачивал у того полную ругу³⁸ за все прошлые годы себе и всему своему причту. Он распалился, напирал на то, что-де у церкви сегодня праздник: Троица ушла с осады, и за то-де полная руга будет по-божески...

– Вот это иное дело! – повеселел он, когда Благой уступил ему, чтобы только отвязаться от него. – Слышь, Авдюшко! – потрянул он за плечо задремавшего дьячка. – Аксиныцу обрадуй!

Авдюшко очнулся и, ничего не соображая, согласно закивал головой.

Семён поднялся с лавки, заметив, что ему здесь больше делать нечего, так как все стали бурно обсуждать новости и забыли о нем.

– Ну, я пошел, Федор Васильевич?

– Иди, иди! – сказал Волынский. – Спасибо за вести!

³⁸ Руга – хлебное и денежное содержание духовенства.

Глава 2. Макуйли

Прошло три года. По зимнему пути, по реке, в конце марта 1614 года в Томский городок прикатил промысловик Евсейка. Мужик был могучий, пил и работал за двоих, откуда родом – не сказывал, а вот привез он с собой холопа Изотку и здорового дикого кота макуйли. Где он раздобыл такого дикаря, про то помалкивал, но не скрывал, что теперь, с котом-то, все соболи будут его... Таких котов в этих краях никто не видывал: с рыжими баками, круглыми ушами и длинной шерстью, как раз по здешним морозам; а ноги толстые, короткие, совсем как у киргиза. Куда такому-то, судачили в остроге, по деревьям лазить. Вот разве что по норам – тут хорош... Евсейка был силен и дремуч, а уж Изотка с лихвой взял над ним. Да и кот был под стать им: день-деньской сидит в избе, как иная бабка-приживалка, спину выгнул горбом, глядит зло – попробуй только тронь.

На весенний промысел они опоздали, до следующего, осенью, было далеко. И они, заняв избёнку, что стояла на отшибе, зажили в ней втроем. И что там была за напасть, но Евсейка побил как-то Изотку. Раз, потом другой... И заимел Изотка на хозяина тайну: думал, думал как бы проучить его, да чтобы самому остаться в сторонке. И набрел он на задумку: стал отлавливать пташек и живых скармливать коту. А потом он посадил его в клетку и давай морить голодом. Кот аж обезумел от такой разгрузки.

Держал, держал он его в клетке, а затем ноченькой-то и выпустил...

Евсейка же свистел по ночам горлом, руладами исходился, как иная пташка... Кот и пошел на этот свист – и хватанул его, да по самой яремой... И так, что Евсейка только ножками взбрыкнул.

Изотка, обстряпав дело, стал высаживать кота из избенки. А тот, вкусив крови, завизжал, запрыгал, страх божий!.. Заметался чертом по избенке: снуют, мечутся два вражьих огонька, фыркают, как бесы, да на стенку, на потолок, да на Изотку, на Изотку-то, полосуют его когтями...

У Изотки сердечко угаром зашлось, поджилки взбрыкнули.

– Брысь!.. Иуда!.. Ой! Ах!.. Черт!..

– Фыр-р!.. Мяу-мяу-у!.. Хр-рр!..

– Караул – режут! Помогите! – завопил Изотка.

А куда там – помогите, коль избенка-то – в ряду крайняя.

Кот же пометался, покуролесил в избенке и, словно домовый, сиганул в прорубленное оконце, на крышу, и был таков.

И стал он безобразить с того дня в острожке по ночам. Всех местных котов разогнал по тайге, иных же совсем загрыз. Собак запугал до смерти: на медведя ходят, а кота испугались, жмутся к людям. Не собаки стали: тыфу ты! Как с такими теперь идти в тайгу-то?

Мужики по ночам не стали спать, особенно спяну, когда в храп тянет. Кот-то может залезть в дымоход, или еще в какую-нибудь щель, как домовый, протиснется. Измучились от недосыпа, днем шатают без бражки... Ловили его. Да умен оказался кот, не в пример мужикам. А уж хитер. Днем – ни-ни, только по ночам, да так жутко выводит, хоть на стенку лезь. И все вокруг избенки Евсейки шныряет и как будто плачет над Евсейкой, над своим хозяином... А где отсиживается днем, под каким амбаром или конюшней?.. Никто не знает...

И не выдержали в острожке. Первым из него ударился в бега Изотка: только пятки сверкнули. Знал ведь, сукин сын, какого зверя-то вызверил... По Оби побежал, за Камень, на Русь.

И стал острожек вроде бы пустеть. Иные, кого раньше по воеводской посылке, за ясаком там или еще куда-нибудь, из острожка и не выгонишь, сейчас сами наострились, согласны были идти походом хоть на киргиз, только бы подальше от кота. Извел, «Вражина»,

всех извел. Воевода задумал было уже и на Москву отписать: просить у государя совета... Затем одумался, отставил, смекнув, что его тут же отзовут с воеводства. А как отсюда, с прибыльного соболиного края, раньше времени-то сниматься? То же себе в убыток... А тут еще кот...

Бабы на мужиков: «Мужики вы или нет?! Он же не медведь, не волк!»...

А сами того – худеть стали.

– Да то ж не совсем кот, – со смыслом качали головами мужики.

Дарья на Федьку: «Ты не шастай вечером, по темноте-то!»

– Он по амбарам лазит, – выдал Васятка Федьку. – Кота ловит...

Федька метнул на него устрашающий взгляд и украдкой показал ему кулак.

– Я те половлю! – зашлась Дарья в крике. – Мужиков запугал, а ты – туда же!

– Мамка, я знаю, где он отсиживается днем-то, – засопел, обиделся Федька.

– Он отсидится тебе – по роже!..

Короток еще день, короток. Но с каждым днем солнце поднимается все выше и выше над горизонтом. Уже и пригревает. Правда, донимает сырость. Но ранняя весенняя пора проявила себя уже во всю, хотя, без сомнения, еще будут и морозы.

Темнело. Было холодно. Федька вышел со двора и направился по тропинке в сторону ворот, что выходили на поле, на киргизскую дорогу. Он дошел до избы бабки Фёклы и остановился. Прислушался... В острожке было тихо. Ни пьяной горластой ругани промысловиков, наезжающих к весне в добычливый пушнинной год, зная его наперед!. И уж как то?.. Приметы, приметы!.. Ни глухого перелаивания к ночи собак, пугающих невесть кого. Даже здоровенный атаманов пес Берендей, и тот притих, опасаясь выдать коту свое укромное местечко, куда прятался на ночь. Ясно: подошло время забродить коту, раз собаки поджали хвосты, забились по норам.

– Вот, Вражина, как запугал-то! – пробормотал Федька.

В животе у него что-то смущенно заурчало, будто замурлыкал кот, и стали быстро холодеть руки и ноги. Его передернул озноб. Не от холода, хотя и было холодно, лязгнули зубы, как бывает, когда закупаешься летом, в жару-то, на речке...

Ко двору конного казака Ефремки Фомина он шел не просто так, не с кондачка. Ефремка был мужиком тороватым, двор держал в исправности. Полон был зерном у него и амбар. Завел он и заимку, затеял было бортничать, потом бросил, перешел на пасеку. Так было прибыльнее, и не надо было таскаться по тайге. Сил хватало на все, казак был дюжий. Вот разве что из острожка по государеву делу не поднимешь. Тут же слезно: обнищал, меж дворов скитаюсь... Это он-то?! Ругался с ним и атаман, и воевода: ничего не помогает...

Почему Федьке запало в голову, что кот прячется у Ефремки? Он мыслил прямо, так: раз амбар большой, то и укрыться есть где...

И вот сейчас, в сумерках уже, чтобы Ефремка не подумал что-нибудь лихого, он перелез через забор и тихо позвал хозяйскую сучку:

– Карька, Карька!

Ее он прикармливал несколько дней, чтобы она привыкла к нему.

Карька выползла из-под крыльца и подошла к нему за подачкой, повиливая хвостом. Федька сунул ей обглоданную кость, которую своровал из чугушка у матери. Карька взяла ее, отошла от него и принялась за дело.

Он же подошел к амбару и затаился, стараясь разобраться, что происходит в избенке у Ефремки... Оттуда доносились какие-то голоса: спокойные, тихие...

В темноте стукнула щеколда, дверь амбара легонько скрипнула, приоткрылась.

Карька глянула на Федьку одним глазом и стала грызть свою кость дальше, как бы говоря: мол, давай, разрешаю, ты свой человек.

Федька прикрыл за собой дверь и оказался в крошечной темноте. Со всех сторон к нему подступила тишина, да такая, что стало слышно чье-то дыхание – с хрипотцой. Он вздрогнул, испугался, но тут же сообразил: да это же он сам, еще не отошел от простуды... Протянув вперед руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь, он шагнул вперед...

В амбаре крепко пахло дубленой кожей от лошадиной упряжи и подседельных потников, густо несло дегтем и еще чем-то... Солодом!.. Унюхал он и едва различимый аромат от пчелиных сот: тянуло откуда-то из-за стенки... А вот что-то зашуршало, как будто скреблись мыши... Да какие мыши! Здесь же рядом Вражина! Собаки, и те забились по щелям, мужики носа не кажут из изб... А тут – мыши!.. Нет, это он – Вражина! Федька точно знает, животом чувствует.

Он переступил еще шаг в ту сторону, на шорох – прислушался... Все было тихо... Нет! Опять кто-то заскребся!.. Когти – когти пробует! Точит, почуял, что это Федька добрался до него... Это тебе не мужики! Это Федька! Он не будет долго цацкаться с тобой...

Он сделал еще шаг туда же – на этот звук, застыл на одной ноге, услышав, как где-то, под самыми его ногами, кто-то заскребся сильнее... Побалансировав на одной ноге, готовый вот-вот завалиться набок, он сделал еще шаг вперед и провалился куда-то вниз, вскрикнув: «А-аа!»... Не успел он испугаться, как ударился обо что-то мягкое. И это мягкое и пушистое вывернулось из-под него с таким пронзительным визгом: «Мяу-у!.. Фырр-р!» – что у Федьки на голове торчком встали волосы, он завопил: «Ма-ама-а!» – и тут же оборвал вопль, словно кто-то вбил ему в рот кляп.

Карька, напуганная этим воплем, лениво взлаяла и опять стала смачно грызть свою кость, заработанную нечестным делом...

Когда Федька не вернулся к ночи домой, Дарья завывала, хватаясь за сердце.

– Кота, кота, зараза, пошел искать!

Иван сразу понял все, коротко бросил Васятке: «Айда!» – и вышел из избы.

Они зажгли факелы и двинулись со двора. За ними увязалась Дарья. Сунулась было и Маша, но Иван прикрикнул на нее:

– Сиди с Варькой! Не то и эту потеряем! Тоже пойдет искать кота!

Перво-наперво они зашли в избу к Баженке. И угодили как раз ко времени, когда атаман сидел за столом со своим семейством и ужинал при тусклом свете жирника.

– А-а, Иван, проходи! – поднялся атаман из-за стола.

– Проходите, проходите! – приветливо засуетилась и хозяйка, его жена Катерина, видя, что Пущины остановились у порога.

На дворе у атамана Васятка раньше никогда не был и впервые увидел весь его хоровод девок: мал мала меньше. Они уставились на него, именно на него, почему-то на него. И старшая, уже взрослая Зойка тоже глянула на него, опустила глаза и быстро спрятала под стол ложку, устыдившись чего-то.

Васятка отвел взгляд от красивого, ужасно красивого лица глазастой девки, с желтоватым оттенком кожи... А нос-то! Прямой, тонкий! Как у царицы!.. Он точно знал, что у царицы нос должен быть только такой и никакой иной... И лоб – высокий, непокрытой головы. Умница! Все говорят – умница... О боже! Что-то ударило его под сердце, он почувствовал, что краснеет, как и Зойка. И он неуклюже подался назад, за Пущина, чтобы спрятаться там, за ним, в темноте.

– Спасибо, Катерина, в следующий раз как-нибудь, – сказал Иван. – Некогда. Вишь, Баженка, дело-то какое: Федька затерялся где-то.

– Кота, кота он пошел искать! – всхлипнула Дарья.

– Да подожди ты! – остановил ее Пушин. – Может, и кота! С него станет! Да искать-то надо. Ты вот что, – обратился он к атаману, – подними казаков, обойди с ними по сараям, у

дворов по Отболотной. В остроге его искать надо: в город-то он не полезет, если пошел за котом. А я к Бурнашке. С ним обойдем до Ввозной и у киргизской стороны.

– Все, все, Иван, бегу! – натягивая кафтан, засуетился Баженка, забежал по избе, стал отыскивать сапоги. – Катерина, оставь – я после доем!.. А вы, глядите, из дома – ни шагу! – погрозил он пальцем своим девкам и рассмеялся: «Кот на дворе! Уж, поди, завел, свои бредни!»...

По дворам засновали с факелами люди. В острожке стало тревожно, но и весело, шумно. Не часто терялся тут человек, в самом-то острожке, среди всего-то полусотни дворов.

Стрельцы и казаки пошли шуровать, заглядывать во все подряд сараи, амбары и подклеты.

Федьку нашли быстро. Нашел его Ефремка, когда выскочил во двор, на всполох в острожке, и увидел Карьку за делом... Знал, жлоб, что не давал он ей никакой кости. И никто из домашних не давал, да еще с мясом. Гложет, стерва... Тут что-то не то. И дверь в амбар сбита со щеколды... Откуда-то приплелся, прихрамывая, как инвалид, домашний кот Стёпка, помятый, будто кто-то наступил на него. Ефремка заглянул в амбар, ахнул – и со двора, да в крик!..

Во двор сразу полезли казаки: топот, смех, брань, свист. Все свои, пешие и конные, где-то уже приложились к бражке, по веселью: знакомый дух... Ну, точно! Она, шептуха Фёкла, курила, вместе с травками...

Федьку достали из погреба: квёлого, помятого, как и кот Стёпка, положили посреди двора.

Дарья завывала над ним: «Что же ты, окаянный, делаешь-то со мной! Хы-хы-хы!»

Появилась здесь и бабка Фёкла и давай бить всех по ногам клюкой, расталкивать казаков, пролезла вперед.

Казаки в хохот: «Фёкла, тебе есть прибыток, дело!.. Зашептывай! Да не зашиби, по темноте, его еще раз-то! Ха-ха-ха!»

– У-у, пустельга, бесовщина!.. Хари-то, хари!.. У-у!..

Карька ошетичилась, взлаяла на нее: «Гав, гав!» – будто ворчала: «Фу-фу, нечистый принес!» Она забежала вокруг кости: уворовать хотят, отнять, свое, выслуженное... «Гав, гав!» Ощерилась, отбиваясь от пьяных казаков, поволокла кость за амбар.

– Тащи, хорони!..

На дворе крики, гогот. Кто-то уже заглядывает в Ефремкины амбары.

Ефремка заволновался: «Эй, вашу...! Казаки, куда, куда! Не лезь туда! Нет дела там! Взял своего и вали со двора!»

– Все, все, Даша, ничего!.. Оклемается! – засуетился Пуцин около Федьки и жены.

Казаки, горлая, повалили со двора. И по острожку, среди ночи, ударились в гулянку, совсем как на Святки.

Это падение не прошло бесследно для Федьки. И все началось у него сразу же...

Стояла ночь, но на дворе было светло. В прорубленное под потолком оконце в избу Пуциных заглянула большая полная луна и прозрачным столбом уперлась косо в пол. Мягкий белый свет стал пробиваться серебристой пылью в глаза Федьки и в голову, полез во все закоулки мозга...

Федька поднялся, бесшумно и легко сполз с печки и поплыл над полом на чей-то странный зов, исходящий из этого прозрачного столба... Он подплыл к нему, коснулся его руками, но там было пусто... Он коснулся его еще раз, еще... Свет, обволакивая его руки, заскользил, как вода, между пальцами. А он стал что-то перебирать и ловить там: теплое, гладкое, погружался туда, как в сыпучий песок... Он беззвучно засмеялся и потянулся вперед, готовый вот-вот кувырнуться куда-то...

Дарья, чутко спавшая, проснулась от легкого шороха его ног, вскочила с постели, побежала к нему и тихо, дрожа, спросила: «Ты что, родненький?»

Федька открыл рот и вяло промямлил: «Я хочу... Хочу туда, туда». И снова потянулся на этот зов, в этот серебристый столб...

Проснулся и Иван, помог Дарье уложить сына опять на печку. Тут же рядом он лег и сам, чтобы Федька ненароком не скатился на пол, буркнув жене, чтобы она завтра же сходила к бабке Фёкле.

Фёкла пришла к вечеру. Она сняла у порога телогрею и села за стол. Дарья подала ей шаньги с творогом и медовуху. Медовухи Фёкла не коснулась, а шаньги аккуратно завязала в платок и спрятала в суму: «Апосля... Чичас негоже», – многозначительно ответила она на молчаливый вопрос Дарьи.

Федьку уложили на кровать. Он глянул на неуклюже серьезничавших взрослых и хихикнул. С печки, хихикнув, отозвалась Варька.

Шептуха подошла к нему, поводила ладонью над его головой. Заметив, как быстро и растерянно забегали у него из стороны в сторону глаза, она уверенно объявила: «Перехид у него, матушка!»

– Ой ты господи! – всплеснула руками Дарья, испугавшись чего-то.

Перехида она страшилась с детства, с того времени, как болел корчами и умер ее младший братишка. И она боялась до ужаса этого слова, не зная и до сей поры, что это такое. Но то было что-то страшное, темное, своими глазами насмотрелась.

– Ты что сомлела-то? – воззрилась Фёкла на нее. – Вот наемдни к Мезене кликали. Так там же была угрюмая скулка, а это тебе не перехид...

Она порылась в суме, достала из нее суровую черную нитку, распустила ее и снова подошла к Федьке.

– Ты, милоч, лежи и молчи. А мы с твоей маткой будем ладить тебя.

Что-то бормоча себе под нос, она намотала нитку на палец, кольцо в кольцо, отгрызла зубами у нее кончик и снова распустила.

– Ну, давай, что ли, Даша?

Дарья кивнула головой, придвинулась ближе к постели.

Шептуха смерила ниткой рост Федьки, с головы до пят, завязала на нитке узелок и подтолкнула в бок Дарью, которая зазевалась, наблюдая за ней.

– Ты что – забыла, чё я тебе сказывала-то!

– Ах, да!.. Что делаешь?

– Испух-переполох сымаю, – проскрипела Фёкла, смерила теперь по плечам Федьку и завязала другой узелок.

– Что делаешь? – снова спросила Дарья ее.

– Испух-переполох сымаю...

Дарья подозрительно глянула на шептуху.

– Да ты же говорила, перехид, а лекаришь переполох!

– А что перехид, аль переполох, все едино... С испугу у твоего!

Дарья прикусила язык, не зная, то ли верить Фёкле, то ли нет. Мужики-то сказывают, что она в бражку воды подливает. Такая и обмануть может...

Шептуха смерила Федьке голову, руки и ноги, каждый раз завязывала на нитке узелки, а Дарья спрашивала ее одно и то же.

А Федька лежал в сладкой полудреме и глядел на Машу и Варьку. Те стояли тут же, рядом. Варька как открыла рот, уставившись на эту непонятную возню взрослых, так и замерла.

Притихли и Пущин с Васяткой. Иван, для строгости, хмурил лоб, как было положено хозяину. А Васятка сосредоточенно строгал подле печки ножом какую-то палку.

Фёкла промерила всего Федьку, отступила от кровати, и в полутемной избе зашелестел ее громкий шепот:

– Выходи, переполох, с головы, с костей, с мозга, с русых волос, с белого лица, с твоего сердца! Я заклинаю тебя на очеретах и на болотах, на густых лесах, где люди не ходят и человеческий глаз не заходит!..

В избе, при последних словах шептухи, стало жутко.

И Васятке показалось, что кто-то на самом деле с легким шорохом покинул ее, ушел куда-то, в неизвестность. И он прислушался, занеся руку с ножом над уже готовым, маленьким осиновым колышком.

Фёкла подняла руки и, пугая кого-то, трижды взмахнула длинными костлявыми пальцами над Федькиной головой: и тот сразу же провалился в знакомый серебристо-белый туман...

Постояв с минуту в полной тишине, Фёкла скрутила нитку с узелками, подошла к двери и засунула ее в маленькую дырочку в глухом дверном косяке. Ту просверлил Пуцин на высоте роста Федьки, которого перед тем измерили, приставив к этому косяку. Фёкла взглядом показала Васятке на эту дырочку. И тот скоренько, раз, раз..., забил туда колышек. Затем он отломил у него кончик, торчавший из косяка, и бросил его в печку... На двери, на высоте роста Федьки, от колышка осталось едва заметное пятнышко.

– Как сей рост он перерастет, так из него переполох уйдет, – заговаривая колышек, пробормотала шептуха и, для верности, три раза плюнула на него.

Она отступила от двери, подошла к Дарье:

– Ну, вот и все, милая!

В избе все сразу оживились. Варька закрыла рот, поковыряла пальцем в носу, размышляя о чем-то, затем быстренько вскарабкалась на печку. Оттуда, сверху, из-за чувала, высунулась ее мордочка, совсем как у белки из дупла, с любопытством взирая на странности, происходящие в их избе.

– Ты когда зайдешь за ячменем-то? – спросила Дарья шептуху.

– Да хоть сейчас! – заторопилась та и мигом подхватила суму, стоящую подле кровати. – Вот я уже и приготовила!

Да-а, видно, ремесло кормит шептуху не сытно. Боится она упустить каждый приработок. А вдруг завтра придешь, и не отдадут, коли выздоровеет?

– Осьмину, осьмину ты мне должна! – напомнила она сотниковой жене.

«Та живет за мужем. Вон каков он в острожке-то! Воевода первым здоровается! Пошто бы?...»

– Маша, сходи, насыпь Фёкле... А ты посиди, посиди! – сказала она шептухе, когда та побежала было за остьюшкой.

Как там было дело и что было причиной, шептуха ли, природа ли, но Федька перестал лунатить по ночам. Прекратил свои бредни и кот. Как и куда он исчез, никто не знал, не знает и до сей поры. В острожке по ночам опять стало тихо. Да так, что теперь от этого не стали спать и бабы и мужики, ожидая, когда же он начнет снова. С ним – ужас, без него еще пущий. А вдруг удумал что, вражья сила, выжидает... Прошла неделя, за ней другая... Месяц, два, вроде бы тихо...

Тут и время подошло для полей и огородов.

Глава 3. Набег

На Прокопьев день Пушины выехали на свою заимку, на полевые работы, свои сенокосные угодья, как и многие другие семьи служилых. И принялись за дело.

– Ох, и уморилась же я! – остановилась вскоре Дарья и бессильно опустила на землю косу. – За тобой, заполошный, и не угонишься!.. Пожалел бы свою бабу! Вот помру, кто присмотрит за тобой-то?

– А вон, хотя бы Машка! – ухмыльнулся Иван.

– Да, да, нужен ты ей! – засмеялась Дарья. – Она вон – все на Васятку глядит... Эх ты-ы! Старичье! – снисходительно проговорила она, заметив, что это задело мужа, которого она хорошо изучила за многие годы, как тянут они, в одной-то упряжке, одну и ту же лямку.

– Ладно, пошли помаленьку дальше, – сказал Иван. – День-то разгулялся, а мы еще вроде бы и не начинали, – окинул он взглядом широкий луг, который шел до самой их заимки, где сейчас Васятка и Маша пропалывали ржаное поле, почему-то густо заросшее в этом году полынью.

«И откуда ее нанесло-то?.. Не иначе с пустоши».

Та пустошь лежала под парами уже второй год. Кусок новины они, горбясь, подняли тяжким трудом: по низу все было переплетено корнями. Ужас! Как на ином болоте или в тайге, где через дёрн-то и не прорубишься. Они вложили в нее много сил, прикипели к ней телом и душой.

Работу Пушины бросили тогда, когда солнце поднялось высоко, стало припекать, прихватывало дыхание, палило под рубахой. Они ушли к избушке, забились под навес, переждать жару, чтобы вечером, по холодку, опять выйти в поле.

Иван пообедал и прилег вздремнуть тут же, под навесом, прикрыв лицо полотенцем от надоедливых мух. Васятка и Федька ушли купаться на старицу. Дарья прибрала с Машей посуду и тоже прилегла отдохнуть.

Подремывая, Иван незаметно провалился в сон и даже слегка всхрапнул.

Разбудил его Васятка, тормоша за плечо так, что он даже фыркнул с испугу, как добрый конь, почуявший в тайге близкого зверя: «Фр-р!.. Что-о!»

– Дядя Ваня, заимка Митяя горит! – крикнул Васятка, видя, что он таращит со сна пустые глаза и ничего не понимает.

Уже несколько дней стояла жара, было душно, ни ветерка. И в знойной тайге, зажелтевшей задолго до осени, густо пошла паутина, повылезала всякая нечисть, сразу откуда-то взялась тьма насекомых.

«Сушь, вот и горит все, как порох... Кто-то там, у Митяя, из домашних, набедокурил, не иначе»...

– А ну давай коней! – велел он Васятке, окончательно приходя в себя от дурманящего послеобеденного сна, и подумал, что кто бы там ни был виноват, а помогать соседям на пожаре надо.

– Батя, и я с вами! – вскричал Федька, заметив, что Васятка вывел из-под навеса только двух лошадей.

– Ты сиди тут! Кто-то же должен остаться с бабами! – отмахнулся от него Иван.

Федька чуть не ударился в рев.

– Да возьми же ты его! – закричала Дарья на мужа. – Что ты его тыркаешь-то все! Уж и не надоело!..

Они снова поругались. И Дарья выбила от него то, что хотела. А он уступил ей, только чтобы не видеть ее такой некрасивой, как воробей-драчун с взъерошившимися перьями.

– Ладно, бери буланку! – крикнул он сыну и вскочил на гнедого. – И живо за мной, лапотники!

Васятка и Федька засучили пятками по бокам лошадок, пустились за ним, дернувшим рысью к лесу, из-за которого к небу тянулся столб дыма.

Вымахнув из березняка на паровое поле Митяя, он примерился было наддать гнедому, чтобы промять его, да и хотелось козырнуть перед соседом статью жеребца: красавца, доброго иноходца. Но тут же он передумал и остановил коня, не видя никакого движения и суеты подле избушки Митяя. Та же полыхала, потрескивала смолой. Кругом было странно безлюдно: ни самого Митяя, ни беготни его семейных и, вообще, ни души... А здесь же он, здесь был еще сегодня утром. И чтобы Митяй-то позволил гореть своему добру, вот так запросто... Не-ет! Такого не могло бы и присниться!

Они тронули лошадей и медленно затрусили к заимке. Но еще не доезжая до нее, он уже почувствовал, что тут случилось что-то недоброе. И действительно, подъехав к избушке, они увидели подле ее крыльца пластом лежавшего Митяя, у которого из спины торчала стрела...

Иван спрыгнул с коня, наклонился над казаком: тот был мертв. Голова у него была неестественно подвернута, по его лицу уже ползали мухи, один глаз косо уставился на него из-под полузакрытого века, как будто подглядывал за ним... Поодаль, у родника, лежал его сын Никола, уже взрослый парень, тоже убитый. А его жены Оксанки нигде не было видно.

Он рывком выдернул из трупа стрелу: это была киргизская стрела. Их-то он уже рассмотрелся...

«Набег!» – мелькнуло у него.

И он с холодком в груди подумал, что его заимка и его родные остались целы только потому, что отсюда, от Митяева поля, к ним вела едва заметная тропа, известная не всем. А значит, киргизы, пограбив Митяя, ушли дорогой на Томск и по пути выжгут еще не одну заимку.

Да, этого набега в остроге ждали. Давно уже будоражили жителей городка слухи о нем, доходя окольными путями от того же Абака, телеутского³⁹ князя. Но чтобы вот так внезапно, чтобы его проморгали отъезжие караулы на киргизской стороне, этого не ожидал никто. И сейчас это застало всех врасплох, и будет много, очень много крови.

«Предупредить! Кого еще можно, кто еще в поле!»...

– Васятка, скачи к Баженке! Он сейчас тоже на заимке! Передай: киргизы пришли! Набег! А мы с Федькой до своих! Забираем и в острог! Давай, Васятка, давай! Да поберегись, прошу тебя! Пошел! – звонко хлопнул он ладонью по крупу мухорточки под малым.

Васятка подхлестнул лошадку, сорвал ее в карьер под перестук в голове одной и той же мысли: «Там же Зойка!.. Зойка, Зойка!»

Ловко увертываясь на лесной тропе от сучков, чтобы ненароком не смахнуло с седла, он понесся в сторону заимки атамана...

– Вот напасть-то! – озабоченно вырвалось у Баженки, когда он выслушал его.

Атаман был человеком обстоятельным. Если он не взвесит все, то не кинется никуда сломя голову.

Вот и сейчас он заходил подле избушки туда-сюда. Казалось, вот-вот он зачесет затылок от свалившихся неожиданно дум. Но если он решил, то уже действовал быстро. Видимо, взвесив все, он подскочил к Зойке и Катерине, которые стояли тут же, молча, наблюдая за ним.

– Зойка, ты в острог, вот с ним! – кивнул головой атаман на Васятку. – А мы с маткой поскачем по заимкам! Слава богу, Катерина, что малых-то оставили дома!

³⁹ Телеуты, татары телеутские – племя собственно алтайских татар.

Баженка даже не спрашивал жену, пойдет она с ним или нет. Катерина была старой казачкой и в седле ни в чем не уступала мужу.

Атаман подтолкнул Зойку к Васятке:

– А ну живо: дуйте отсюда!

Зойка сорвалась с места и подбежала к лошадке, на которой сидел Васятка. Ничуть не смутившись его, она высоко задрала сарафан, так что мелькнуло голое девичье колено, и зацепилась носком за стремя.

Васятка же подхватил ее за руку, рывком дернул вверх, и она плюхнулась позади него на широкий круп лошадки.

– Гони, гони! – крикнул атаман Васятке и бросился вместе с Катериной к лошадям, что стояли привязанными у прясла.

И Васятка увидел, как он вскинулся в седло. И тут же лихо, по-казачьи, на коня взлетела Катерина... Катерина, у которой был целый выводок детей и ей было не так уж и мало лет. А вот, поди же ты!..

«Во дает!» – пронеслось у Васятки в голове, когда Катерина подняла на дыбы коня, развернула его на месте «свечкой» и бросила в галоп вслед за мужем.

Да-да, за мужем, атаманом, другом и возлюбленным, с которым всегда была рядом. И между ними уже давно было решено раз и навсегда, что если им будет суждено погибнуть, то только вместе. И лишь порой Баженка ворчал из-за этого: на кого-де они оставят малых-то. Но ворчал так, что Катерина видела: эта ее верность для него значила много...

Васятка поддел пятками под бока мухорточки. Они поскакали по тропе сквозь осинник и выметнулись на елань, поросшую луговыми травами с редкими плакучими березками.

Елань словно вымерла. Хотя по свежей кошенине было заметно, что тут только что работали, звенели косы, шелестела и покорно ложилась колючими валками трава.

Копыта мухорточки глухо зацокали по утопанной высохшей тропе, вплетаясь в заздравные песни жаворонка в вышине и зудящий гул пчел и кузнечиков...

Васятка ускорил бег мухорточки, чтобы поскорее убраться с открытого места: опасного, неудобного, чувствуя кожей чьи-то взгляды... И тут же краем глаза он уловил какое-то движение на другом конце елани. И сразу же оттуда долетел знакомый воинственный клич: «Ы-ы-хх!»...

– Киргизы! –дохнула Зойка ему в затылок.

Он вздрогнул, почувствовав, как она прижалась к нему, упруго, грудью... У него захолонуло все внутри и его бросило в жар.

Он еще сильнее надал по бокам мухорточки и отпустил повод, давая ей полную свободу.

– Пошла, пошла, милая! – подбадривая лошадку, простонал он. – Вынеси, голубушка!.. Прибавь, еще, еще!..

Топот копыт, дикие, с завываниями вскрики, казалось, неумолимо приближались.

Но он не оборачивался, хотя тянуло, страшно тянуло взглянуть: догонят ли?! Знал, что это собьет с шага мухорточку. На струне она идет, тонко: миг – сорвется, и все полетит кувырком.

Вот пропела одна стрела... Но, не найдя никого, врезалась в землю под самыми копытами мухорточки. За ней еще одна. Тоже недолет!.. Спешат степняки, боятся упустить добычу, лакомый кусочек – девку... Да и малого можно торговать за добрую деньгу. Вон какой сильный, ловок в седле, не так просто будет сладить с таким...

– Зойка! – крикнул он. – Глянь, сколько их! Осторожней – мухорточку бы не запахать! Одним глазком, здорово не крутись! Поняла?!

– Да!

«Ох, ты!» – пронеслось в голове у него.

Только сейчас он сообразил, что она сидит спиной к преследователям, поневоле закрывает от стрел его, мужика... Позор!.. Ни повернуться, ни пересесть, ни остановиться, хотя бы на мгновение.

«Надо было сразу садить вперед! – запоздало подумал он и чуть не заплакал от отчаяния, что вляпался в это по своему же недомыслию. – Что будет, если с ней что-то случится?! Удавлюсь, в тайгу, в бега! Как атаману-то взглянуть в глаза?.. Ну и болван же ты!» – стал честить он сам себя.

По слабому движению за спиной он догадался, что она оглянулась: быстро, ловко и легко. Так что он едва почувствовал это.

– Двое! – крикнула она ему в самое ухо. – Только двое!.. Но под ними колмацкие! – добавила она.

И он понял, что она не только хорошо разбирается в лошадях, но и этим говорит, что уйти от степняков у них нет шансов. Разве что те не осмелятся близко подходить к острогу. Или что-нибудь вспугнет их раньше, чем они настигнут их... Да, вот-вот тут где-то пойдут крестьянские поля, а на них всегда было полно людей. Волынский-то крепко-накрепко наказал всем: за стены выходить только вооруженными...

«Наконец-то!» – вздохнул он, когда они выскочили на уже заколосившиеся крестьянские поля.

«О-о! господи!» – отдалось страхом у него в сердце при виде потоптанного и выгоревшего поля...

От нивы, созревающей нивы пахнуло гарью, несло бедой.

– Васятка, что делать?! – снова задышала Зойка ему в ухо, и голос у нее сорвался. – Догонят, догонят ведь!

Да, она боится, дрожит, он это чувствовал, но и крепится, надеется на него, только на него...

«О-о! Вот так!» – вдруг озарило его, он легонько потянул повод и направил мухорточку на тропу, что уходила с поля на болото, подступающее к самому городу, к крутому яру под крепостной стеной.

– Слушай, Зойка! – закричал он. – Нам от них не уйти! Сделаем так: у болота, как придержу мухорточку, скатывайся и беги в кусты! Ясно?!

– Да!.. А как ты?!

– Я за тобой! Но ты вперед! Тропу через болото знаешь?

– Да!

– Приготовься!

Они проскочили по тропе с сотню сажень, и он резко потянул на себя повод у густо разросшегося на болоте кустарника и камыша, такой вышины, что там мог скрыться с головой и всадник.

– Прыгай! – крикнул он, когда мухорточка засучила на месте ногами, останавливаясь после бешеной гонки. И он почувствовал, как Зойка ухватилась ему за плечи руками, вскочила ногами на круп мухорточки, оттолкнулась и птицей полетела далеко в камыши...

«Вот это да-а!» – мелькнуло у него от такого лихого прыжка девки, и он краем глаза заметил, как она исчезла в камышах, а за ней прошла и тут же заглохла зеленая волна.

Он снова кинул мухорточку вперед. А та, налегке, сразу взяла махом, выбив из тропы пыль. Он же услышал почти рядом вскрики степняков... И дзинь, дзинь! – пролетели рядом с ним одна за другой две стрелы.

Киргизы не заметили, что беглец остался один. А он повернул за следующим поворотом тропы свою лошадку и загнал ее в гущу камыша. Остановив ее, он ласково похлопал ее по шее, припал к ней и зашептал:

– Тихо, тихо... Молчи, мухорточка... Молчи...

Мимо него пронесся один всадник, затем другой... и третий!

«Откуда этот-то?!» – удивился он, полагая, что за ними гнались всего двое.

Он задержался еще в укрытии и только собрался было выбраться назад на тропу, как по ней пронеслись еще три или четыре всадника. А может быть, и больше...

«Сколько же их, боже! – теперь уже испугался он за Зойку и понял, что киргизы шныряют по всем дорогам в окрестностях городка. – Собаки! Как у себя дома! И много, раз забили все тропы. Не скрываются, ничего и никого не боятся... Где же казаки-то?!» – появилась у него тревожная мысль, что, может быть, уже и перебили всех в поле и они остались вдвоем с Зойкой. Но он тут же выбросил это из головы.

Он выждал еще некоторое время и, больше не слыша стука копыт, тронул мухорточку, выехал на тропу и пустился по ней назад. И тут, почти у того самого места, где он бросил Зойку, он лоб в лоб столкнулся с киргизом. Тот несся по тропе и тоже сломя голову, не ожидая никого встретить тут... Мухорточка ударилась грудью о бахмату киргиза и сшибла его. И Васятка полетел через ее голову вперед, мельком заметив, что и киргиз тоже летит в кусты, выронив из руки кожаный щит...

Он тяжело грохнулся о землю, охнул от боли в плече, прокатился по траве, ударился о ствол какого-то дерева и замер, тяжело сопя.

«Вставай, вставай... Прихватят!» – закрутилось у него в голове.

Он поднялся на ноги и огляделся.

Неподалеку лежала мухорточка и странно трясла задними ногами. Она пыталась подняться и не в силах была сделать это с одной сломанной передней ногой. Та безобразно болталась на коже, как било у цепа. И мухорточка лишь тихо всхрапывала, да темными глазами косилась на него. Ну, совсем как Митяй... Здесь же валялся и бахмат. Тому тоже, по всему было видно, уже не отойти после такой сшибки на полном скаку...

«А где этот... Пёс-то! Где?.. Сковырнулся совсем, аль затаился?» – зашарил он зальтыми потом и кровью глазами вокруг, отыскивая своего «крестника».

Он нащупал рукой на поясе нож, единственное свое оружие. Вот он-то и боднул его при падении костяной ручкой под бок так, что он все не мог отдышаться и хватал ртом воздух... Он дотащился до кустов и заглянул туда: киргиз лежал комком, как врезался головой в какую-то кочку, так и затих.

Он выполз из кустов на тропу, глянул напоследок на мухорточку, беспомощно взирающую вслед ему, смахнул слезу и, прихрамывая, затрусил туда, где бросил Зойку. Но тут он снова услышал топот копыт на тропе и врубился в камыши. Быстрее, быстрее! Живо – пока не заметили! Не то доберутся и до Зойки. Выдаст он этим девку, выдаст!.. Толстые упругие стебли хлестанули его по лицу. И он, не разбирая дороги, побежал по захлопавшей под ногами болотной жиже. Пробежав десяток сажень, он затаился, чтобы не выдать своего укрытия.

По тропе проскакали еще конные, и опять стало тихо.

А он отыскал в камышах знакомую тропу и пошел через болото, на маячившие вдали башни острога. Не прошел он по ней и самой малости, как его окликнул знакомый голос: «Васятка, это ты?!» – и из кустов высунулась Зойкина голова.

– Да, я! – обрадовался он и шагнул к ней.

Зойка выскочила из кустов, бросилась к нему, на мгновение припала и тут же, устыдившись чего-то, отстранилась и покраснела.

– Пошли! – шепнул он, схватил ее за руку и потащил по болоту: туда, к острогу, где были свои и, видимо, сильно занятые делом, по тому, как часто бухали со стен пушки.

Спотыкаясь о корни и кочки, обдираясь о кусты и стебли камыша, они, наконец-то, выбрались на сухое место. И тут перед ними вырос крутой высокий яр. На верху его, по самому обрыву, шла острожная стена, и туда вела единственная узенькая глинистая тро-

пинка. По ней в сырую погоду-то и не влезешь. Но искать ее сейчас было некогда. И они полезли напрямую вверх по склону, цепляясь за редкие кусты репейника.

Они взобрались на яр и оказались перед острожной стеной. Теперь, что в одну сторону иди, что в другую, все равно обязательно окажешься на виду у степняков, если те осадили город... Стена, высокая, из гладко оструганных бревен, вкопанных стоймя в землю, равнодушно взираала на них, загораживая им вход в городок, как отвесная скала, без щелей, выемок и блоков.

– Эй-й! – заорал он, задрал кверху голову. – Слышит нас кто-нибудь?!

Зойка поддержала его, закричала звонко, голосисто:

– Помогите!.. Помогите-е!

В ответ – ни звука. С этой стороны, где было болото, эту стену не охраняли. За ней присматривало два или три стрельца, да и тех в такое тревожное время, скорее всего, не было тут.

И они пошли по краю обрыва до Отболотной башни, что стояла как раз посередине этой стены. Дойдя до нее, они снова покричали, надеясь, что кто-нибудь услышит их. Но все было напрасно. Лишь на степной открытой стороне, да у реки слышалась частая ружейная и пушечная пальба.

И они поняли, что сейчас никому нет до них дела, поэтому выбираться им надо самим. И Васятка полез по углу башни, цепляясь за щели в разошедшихся бревнах. За ним последовала и Зойка. Он добрался до амбразуры, ухватился за нее руками и глянул вниз, где была Зойка. Та, сжав зубы, с усилиями, но ползла за ним, вонзая тонкие пальчики в те же самые щели в бревнах. На ее бледном лице была написана решимость: ни за что не отстать от него.

Он повис на одной руке, протянул ей другую и прошептал: «Держись!» – чтобы не испугать ее громким голосом, понимая, что отсюда просто так не упадешь: лететь будешь в самый низ яра, к болоту, и с такой высоты, что не соберешь и костей.

Зойка подтянулась выше, ухватила за его руку и так, что под весом ее тела у него поползла из сустава рука, которую он зашиб при падении с лошади.

– Ох!.. Быстрее, быстрее! – застонал он, чувствуя, что долго не выдержит.

Зойка ловко и быстро пробралась по нему, дотянулась до амбразуры и протиснулась сквозь нее внутрь башни. За ней туда же залез он, в изнеможении опустился на пол тут же подле стены.

Зойка села рядом с ним, прижалась к нему, тяжело дыша: «Мы сделали это, сделали!»...

Красивое большеглазое лицо, вымазанное болотной жижей, осветилось улыбкой: торжествующей, неотразимой. И она, оттаивая, расплакалась, прислонилась к нему головой. Затем она обняла его и, всхлипывая, со слезами на глазах, счастливыми и полными света, стала целовать его, неумело тыкаясь ему в лицо, и, скорее, облизывала, как теленочка.

– Я люблю тебя, люблю!.. Люблю! И всегда буду с тобой! Слышишь, всегда! Как мамка с баткой! На роду это у нас! И мне суждено!.. Куда ты, туда и я!..

А он неловко прижал ее к себе и почувствовал громкий стук ее сердечка под еще слабой неразвившейся девичьей грудью. Оно стучало громко и часто, как у птички, отдаваясь во всех уголках ее тела, горячего и таинственного... Эх, Васятка, Васятка! Пропала твоя головушка!..

Зойка навздохалась, нацеловалась, прижалась к нему и затихла.

Сколько времени они просидели вот так, прижав друг к другу, они не знали. От истомной неги, слепившей их вместе, они очнулись от голосов, резких и грубых. Внизу кто-то подошел к башне, видимо, из пушкарей. Затем заскрипели ступеньки лестницы, что вела наверх, шаркнула на кожаных петлях дверь, в башню ввалился пушкарь Ивашка Корела и

удивленно воззрился на них, не ожидая встретить здесь кого-либо. По лицу у него скользнула тень глубокомыслия, и он, пытаясь что-то сообразить, ухмыльнулся: нехорошо, смазливо...

– Все на стенах, а вы тут – ишь чем занимаетесь! – сердито пробурчал он и хотел сказать еще что-то, но лишь махнул рукой, дескать, убирайтесь, сейчас не до вас, таких...

И они покорно поднялись и покинули башню, единственного и немного свидетеля какого-то нового для них открытия.

А Пущин со своим семейством благополучно добрался до острога. За ними в ворота одна за другой загрохотали на высохшей дорожной колее подводы с малыми ребятами, девками и бабами, голосившими по убитым, которых везли тут же в телегах. Вой баб, лай собак, ржание коней и заполошные злобные крики мужиков – все слилось в один кошмарный круговорот беды, смерчем нагрянувшей из степи.

Вслед за телегой Пушиных в острог вкатилась подвода. В ней пластом лежал и пел песни Ефремка, у которого Федька искал в амбаре кота, казак из станицы Баженьки, а конем правила Акулинка, его жена.

«Когда уже успел-то? – мелькнуло у Ивана. – Этому-то – трын-трава!»

Ефремка был как всегда пьян. Он возвращался со своей пасеки, где гнал медовуху. Снимая с нее пробу, он набирался так, что всю обратную дорогу до дома голосил песни. Их он нахватался, когда казаковал на Волге, где он, было дело, промышлял с ватагой таких же, как он сам. И, по старой памяти о вольготной былой жизни в молодости, он до сих пор подцеплял в ухо золотую серьгу. Одно время он был у Зарудского, под Москвой. Затем, когда тот побежал из подмосковных таборов, Ефремка перекинулся в войско князя Дмитрия Трубецкого... Акулинку же он своровал у ее родителей, в деревеньке под Вологдой, по дороге в Сибирь. Она была девкой разбитной, сильной, дерзкой. Ее и воровать-то не нужно было: сама бежала с казакон. В Томске она успела нарожать ему кучу детей: двоих сыновей и трех девок. Их надо было кормить, и Ефремка со скрипом, но все же осел на земле. Он завел заимку, распахал клин, откупил у конного казака Матюшки Шитова пару пчелиных семей.

Откуда у него были деньги? А деньги у него на самом деле были. Служилые это чувствовали, но не понимали, каким образом они у него не выводятся, когда государева жалования по два года и более в городке никто не выдывал и в глаза. А у Ефремки всегда были монеты. Да-а! То одному богу было ведомо, да самому Ефремке...

Сколько раз ведь он ездил через таможенные заставы. Там его доглядывали, и так, что, казалось, на теле не осталось ни одного волоска, которые бы не пересчитали ему. Ан нет! Все равно схоронил золотые: из Москвы, награбленные, когда горела та, подожженная поляками, что засели в Кремле, отбиваясь от осадивших их казаков Зарудского, среди которых был и он, Ефремка. И здесь, в Томске, тайно от воевод и городского головы, он разменивал их от случая к случаю у заезжих купчишек. Тем же самым тоже было не к чему, чтобы об их мощне кто-нибудь знал. В общем, жил он умело, никто не ведал, откуда у него что берется-водится.

Не догадывались на таможене целовальники взвесить Ефремку, после того уже как он прошел досмотр... Ефремка был силен в одном деле, о коем знали только его дружки: он мог выпить разом до ведра пива или воды и тут же обратно вылить все изо рта. А уж что говорить о том, чтобы заглотить кучу монет. Это ему было раз плюнуть. И он носил в брюхе до чети пуда золотом или серебром... Была одна беда: ходил при этом осторожно, так как позвякивали они у него там. И выдали бы они его, если бы у таможенников слух был крепче, не глохли бы от пьянок, когда в голове такой звон стоит с утра до вечера – почище колокольного... Вот если Ефремка пожрет, то и не брякают они уже более... Поэтому-то, как только он подъезжал к таможене, так на него, по привычке уже, жор нападал... Не пожрет – ну хоть помирай. А куда уж таскать монеты...

Купцы, что проводали этот Ефремкин дар мудрой природы, подбили его как-то, чтобы провез через таможену золотишко: харч положили, да еще дали на водку.

Однажды воевода пристал: «Провези да провези!»...

Согласился Ефремка. И чуть богу душу не отдал. Воевода-то, воровская рожа, перегрузил его, едва не пуд заставил глотать... И где их наворовал тут?! Ну, это его дело. А вот Ефремку-то немного удар не хватил. Воевода загрузил его под завязку так, что и корочку хлеба не сунешь в рот. И пошел Ефремка раскорякой: как-никак, а пуд металла. Это тебе не ведро бражки... Проехал он таможеню, вот так, лежа на боку, а рядом лежал живот...

Воевода-то сказал целовальникам, дескать, это мой холоп, занемог, ноги не держат.

– Уж и не знаю, довезу ли до своего двора, до лекаря!.. Люб он мне, ой как люб!

«Как же не люб! – зло подумал Ефремка, придерживая дыхание, чтобы ненароком не кашлянуть: ведь звон пойдет, что тебе на масленицу. – И я бы полюбил за пуд золота кого хочешь!»

Ефремка понимал, что если поймают за этим делом, то воеводе-то ничего, он отбредется: я-де не знал и духом не ведал, что холоп затеял воровство. А Ефремке-то каюк: это ж государственное воровство. За него, по указу, сразу на плаху, или пожизненно в тюрьму, а на щеку клеймо – «вор». А что пожизненно-то? Там же год-два протянешь, не более: в сыром и холодном срубе.

Его заметили на Верхотурской таможене – примелькался. Тогда он перекинулся на Обдоры. Но и там тоже вскоре его морда приелась. Целовальники что-то подозрительно стали косить глазом на него: туда едет больным – оттуда здоровым. И уже который раз. Неспроста дело. Стали они обыскивать его, да так, что всю одежку снимают, прощупают, сани переворачивают, коробыя трясут... И ничего нет! Чист едет!.. Но по роже видно, что не чисто. Но с рожи-то не возьмешь десятину, не отпишешь на государя весь излишек.

Вот так Ефремка, в конце концов, сработал на таможене и на себя, покидая навсегда стародавнюю матушку-Русь и драпая с золотыми, уже своими, кровными. Купчишек он тряханул в Москве и за Камень канул, в неизвестную землю, что была без конца и края. Говорят, никто и до моря-то не доходил. А может, его и вовсе там нет?..

Так и сгинул, исчез Ефремка с казной за Камнем. Вынырнул он уже в Томске: тихо, Ефремкой назвался, с товарища своего, связчика, имя взял, когда тот в тайге неожиданно умер у него на руках. Так и ушел Терёшка, как звали его до того, в вечность. А из тайги вышел уже не Терёшка, а Ефремка, да имея за собой великую казну, которую припрятал так, что только один покойник знал и сторожил ее. С собой он взял немного монет, чтобы обжиться первым делом, да завести избу с бабой. И лишь изредка наведывался он к своей таежной кладовой и брал оттуда по самой малости, так что даже Акулинка не знала об этом. И зажил он как все, не высывался, но и нужды не имел, медовуху пил, к табаку пристрастился. Ссылный Лаврик, из «литвы», из пеших казаков, обучил его, как табак с бумажки носом пить. Занятно... Тайно от воеводы. Указ государев у того, говорят, в сундуке лежит: кто табак пить будет или в шар играть, не то в кости, аль шахматы, то чтобы воевода таких отлавливал и принародно бил нещадно батогами... Грозный указ!.. Раз нагрянул к нему воевода, когда Ефремка «смолил». Кто-то из своих донес, по зависти, на его безбедное житье; так что он едва успел сплотнуть бумажку с огоньком, и дым тоже... Воевода зашел в избу, принялся... Покрутился, покрутился и вышел: с нюха-то ничего не возьмешь...

Пушин отправил Дарью и Машу домой и ушел с Федькой на стену, где собрались все, кто мог держать в руках оружие.

– Много в поле людей-то, а? – вопросом встретил его Волынский.

– Да, почитай, все, – мрачно ответил Пушин. – Кроме тех, что на караулах.

«Вот невезение-то!» – с раздражением подумал Волынский о том, что уже и домой собрался, в Москву, смена ему едет на воеводство, а тут – набег!..

С проезжей башни бабахнула пушка куда-то вверх голов баб и девок, которые заголосили еще сильнее в тряских телегах, все еще подкатывающих и подкатывающих к острогу.

– Иван, пошли кого-нибудь к пушкарям! Что они белены объелись там! Спьяну-то своих же и порешат! Собаки! – выругался воевода.

– А ну сбегай туда! – толкнул Пущин сына. – Слышал, что воевода говорит! Скажи, я им... если еще раз ударят куда не надо! Не палить, пока все не зайдут за стены! Понял? Дуй, Федька!

Федька убежал на башню, а Пущин издала погрозил кулаком пушкарю, высунувшемуся из амбразуры башни. Тот смекнул, в чем дело, и сразу исчез с глаз.

На дороге показалась новая вереница телег. Они спешили к острогу, поднимая за собой пыль. Но эти двигались как-то странно: тихо, без воплей и криков.

Приглядевшись, Пущин увидел, что по бокам и позади телег скакали казаки во главе с Баженкой и Катериной.

«Хорошо хоть атаман-то иных уберег!» – облегченно подумал он о том, что вовремя послал Васятку к Баженке.

И тут же у него тревожно мелькнуло в голове: «А где же он сам-то?» – когда он не увидел среди казаков приметной фигуры малого.

«Черт те что! Куда же он послал-то его еще?!» – заторопился он со стены встречать обоз беглецов, буркнув воеводе:

– Я сейчас, Василий Васильевич!

К Волынскому он вернулся вместе с атаманом.

– Ну что, Баженка, твои казачки опять моргнули по отъезжим караулам! – негодуя стал изливать воевода свое раздражение на атамана, из-за этого набега, испортившего ему под конец воеводство.

– Василий Васильевич, сейчас не до того, – сказал Пущин, заступаясь за атамана.

– А когда будет до того! Вот до того! – ткнул Волынский пальцем в сторону ворот, где мужики снимали с телег побитых и укладывали рядами в тени башни, под вой баб и девок. – Когда станете службу править как надо?! Когда! Когда половину перебьют, а остальные с перепоею подохнете?! Эх вы! Сами того! – покрутил он выразительно рукой у горла. – Рыльце-то в пушку, вот и выгораживаете своих!.. Из-за одного-двух... которые перепились на караулах, сотни иных маются, заплатились головой!

Он подошел вплотную к атаману, сжал кулаки, казалось, вот-вот ухватит его за грудки, по-мужицки.

– Сыщешь тех, что стояли в проезжей станице, и бить их кнутом, на площади! Ясно!

– Ясно, – пробормотал Баженка, взвинченный ни чуть не меньше Волынского оттого, что вина, и большая вина была на его казаках в том, что просмотрели этот приход кочевников.

Волынский покричал еще, повозмущался и отпустил Пущина и Баженку к их служилым.

«Да хрен с ними!» – вдруг пришла к нему мысль, что это он о том, о чем думать надо в первую голову тому же атаману и сотнику, поскольку им жить тут с людьми. А ему-то что? Месяц-два, и его не будет уже тут...

Киргизы, а с ними, как потом-то выяснилось от пленных, захваченных на вылазке, были еще и кызыльцы и керексусы⁴⁰, побили в поле более двух десятков человек. Они попробовали, но безуспешно, наскоком взять острог и ушли восвояси. С собой они угнали весь скот, что захватили на полях. Они не стали ввязываться в стычку, когда Пущин с Баженкой вывели своих людей против них на вылазку. И стрельцы с казаками, ожесточенные от вида

⁴⁰ Татар Абаканской долины и Юсской степи объединяют общим названием «абаканские татары». Они составляют четыре больших племени: качинцы, сатайцы, койбалы и кызыльцы, сложившиеся постепенно из более мелких племен. Три первых племени живут в Абаканской долине, а кызыльцы – в Юсской степи. Керексусы – керексусские татары, проживавшие в верховьях реки Чулым.

многих побитых, даже баб и малых ребят, погнались за кочевниками и рубили тех, кого догоняли. Но отбить скот им не удалось: киргизы ушли к себе с добычей.

На следующее утро казаки и стрельцы вышли за стены острога и весь день собирали убитых по полям и заимкам, свозили в город, где бабы обмывали их и голосили, оплакивая целые семьи, сведенные под корень набегом.

Глава 4. Поход в «Кузнецкую» землицу

Прошло два с половиной месяца. В Томске появился новый воевода, Гаврило Юдич Хрипунов. Василий Волынский уехал в Москву стольничать при дворе царя Михаила Романова. Его брат Федор там же. Их старые замыслы, повоевать тунгусов, так и не сбылись. Новому великому князю пока не до того: Московия еще не оправилась от смуты и разорения, обнищала государевой казной.

На Егория осеннего у Пущина был намечен поход большим отрядом в «Кузнецкую» землицу, чтобы обложить ее ясаком, крепко подвести под государеву руку. Отряд сколачивали тяжело. Служилые только-только вернулись со своих «суземий» и «угожий»⁴¹, где звевали первым осенним выходом. И Хрипунов дал им неделю на отдых и сборы в поход.

Последние дни, перед походом, Дарья кормила своих мужиков до отвала. А на выход она закатила настоящий пир. И получилось совсем по-праздничному, когда Иван распечатал еще и жбан с бражкой, что тосковала в тепле за печкой, тужилась до своего урочного часа.

– Поторите снежок-то. Растрясетесь живо. Вот тогда и вспомните мою стряпню! – ворчливо отозвалась Дарья, когда Иван заикнулся было, что она зря убивается так...

С утра на следующий день Иван и Васятка ушли в съезжую.

Федька же проснулся поздно и сразу уселся за стол, под образами, и стал доедать остатки от вчерашнего обеда. Громко чавкая, он обгладывал кости, с шумом высасывал из них мозги.

– Вкусно!.. Хм!.. Мамка, так я ж говорю, ты у нас это... За воеводу... Батька-то воевод шибко боится. Хи-хи!

– Много ты понимаешь! – обиделась Дарья за мужа. – Вон – сопли, а туда же – на батьку!

– Гы-гы! – растянул Федька рот, довольный, что зацепил мать; та все за отца, да за отца.

Дарья недовольно покосилась на сына.

– Эх, ты-ы!

Она ничего не сказала больше, накинула телогрею и вышла из избы, чтобы перебраться в подклети толочно в дорогу мужикам. Там уже сидела за этим занятием Маша. И тут же, подле нее, крутилась Варька, укутанная в меховую кацавейку, чтобы не простыла в холодной подклети.

Время за работой летит быстро. Тем более все молчком, да молчком, так как у Дарьи с Машей опять все не заладилось.

Когда она вернулась назад в избу, вместе с Варькой, то от огорчения всплеснула руками и чуть было не расплакалась. Перед ней предстала печальная картина: Федька сидел все так же за столом, но пьяный в дугу. А подле него на лавке стоял откупоренный жбан с бражкой и большая кружка, которая, было заметно, уже не раз полоскалась в нем. Дарья замечала и раньше, что Федька по-воровски прикладывается к бражке; та у них не переводилась: для гостей, да и самим иной раз, сам бог велел, повеселиться. Но чтобы вот так, в открытую, во всю ширь, да еще нализаться, такого раньше не было. И она возмутилась, набросилась на него с бранью.

В эту минуту в избу вошла Маша и тоже обомлела оттого, что увидела.

А Федька выполз из-за стола, пьяно покачиваясь, подвалил к ней и ухватил ее как-то больно ловко, сноровисто, уже по-мужицки, крепко, стал лапать и тискать.

⁴¹ Суземье (суземок) – глухой, сплошной, отъемный лес, волок, дремучие леса, вообще – дальняя тайга. Угожий – удобный, пригодный, полезный, сручный, потребный.

– Машка, ты это брось – мужиков-то мне портить! – взвилась Дарья, ошарашенная тем, что ее сын, еще молокосос, а вот, поди ты, туда же...

– Мамка, не лезь! – пьяно закричал Федька. – У нас – того!.. Любовь!

– Я покажу тебе, сопляк, любовь! По ночам еще мочишься, а туда же – любовь! А тебе, сучка, что?! Кобелей в острожке мало!..

– Дашка, так он сам, сам дороги не дает! Хы-хы!.. Как я куда пойду – так он шаст, и за поленицу, да под подол! – захныкала Маша. – Я уж его и так, и так – коромыслом! Эвон – бык-то какой! Коромысло-то хрясь – ему кабы что!.. В тебя уродился-то! Хы-хы!..

Отбиваясь от Федьки, она вывернулась из его пьяных рук. Когда же он попытался снова поймать ее, она выскочила из избы и резко захлопнула за собой дверь. Федька ринулся было за ней, но спьяну ударился лбом о дверной косяк, взвыл, закрутился волчком, замотал башкой, как медведь, угодивший под колодину, настороженную на звериной тропе, да не на него, не по его кости.

Дарья не заметила, как у него в руках оказался топор, что всегда валялся под печкой: дрова поколоть или щепок натесать. И размахивая им, он забегал по избе, одуревший от сивухи, от этой сучки Машки, от звона в голове... Словно обезумев, он стал крушить все подряд, рубить на полный мах, уже мужицкого роста.

– Убью, убью! – завопил он, ну прямо зверь зверем, только о двух ногах, да в портах, ею чиненых перечиненных. – Машка, где ты...! – врезал он пару раз топором со всего плеча по косяку, наградившему его здоровенным синяком. Затем он рубанул по двери, за которой скрылась остячка, и пошел, пошел перебирать топориком все, что встречалось на пути.

Наотмашь срубил он и занавеску. Та упала, накрыла его. А он завертелся, пытаясь сбросить ее, заметался по избе огромным ситцевым платком.

– Что же ты, изверг, делаешь-то! – застонала Дарья, увертываясь от сына; тот, сослепу, мог порешить и ее. – Ситчик-то, ситчик где же достать!..

Проснулся и захныкал Гришатка, разбуженный дикими вскриками в избе: самый маленький отпрыск их семейства. Годик еще минуло ему, родился уже здесь, в Томске. Дарья кинулась к люльке, встала подле нее, заслонила малыша, опасаясь, что хмель качнет Федьку в эту сторону... Родился Гришатка хиленьким, весом вдвое меньше, чем родился Федька. Был он слабеньким, болезненным. Из-за этого она подтрунивала над мужем: износился-де на службе-то, все, больше рожать не буду...

А Федька рубанул через ситчик по столу, с грохотом опрокинул лавку, отшатнулся к печке и смахнул с припечка чугунок. По избе ударило запахом свежих щей. Ошпаренный кипятком, он взревел, стал сдирать с рук горячие ошметки капустного листа... Затем он снова засновал туда-сюда, полосуюя топором ситчик... Наконец, он скинул его, остановился раскорякой посреди избы с топором, который словно прилип к его руке, тупо огляделся и осклабился.

– Мамка, дай выпить!.. В груди жгёт, вот тут!

– Я тебе дам, зараза! – вскричала Дарья и только сейчас заметила, что осталась в избе один на один с сыном: Маша куда-то ускакала за дверь, а за ней выбежала и Варька.

«Соседей, должно быть, собирают!.. Мужиков!»

– Ох ты, горе мое! Господи, да когда же ты забереешь-то меня! Моченьки уже нет жить на этом свете! – заголосила она.

Федька уставился на нее, силясь что-то сообразить.

В этот момент дверь избы с треском распахнулась, и на пороге появился Иван. Увидев отца, Федька набычился, двинулся на него, сжимая все так же в руке топор, взвизгнул:

– Уйди, батя! Зарублю!

– Ах ты – сосунок! – рывкнул Иван, не сводя глаз с топора в руке сына, готовый отскочить в сторону.

В избу, вслед за ним, тут же влетел Васятка, метнулся из-за его спины, сшиб с ног Федьку и вырвал у него из рук топор. В избу сразу поналезли мужики, до того нерешительно топтавшиеся подле крыльца. Они навалились на Федьку, связали его веревками и бросили в угол. Федька что-то замычал, стал кому-то грозить...

– Лежи, лежи!.. Ишь, герой-то какой!.. На баб – с топором!

– Сотник, глянь, как он укусил палец-то! Чисто ножом полоснул!.. Варнак!..

Мужики посудачили, что вот-де какие мальцы нынче пошли – выпьет и на мать, с топором, – и разошлись по своим дворам.

А Федька поскулил, повозился и уснул в неестественной позе с затянутыми назад руками, согнутый пополам в углу подле сундука.

Проснулся он ночью, когда в избе все спали: тревожно, взвинченные после ругани и разбирательства, кто и в чем виноват. Он заплакал в темноте, снова переполошил всех в избе.

– Мамка, да развяжи ты! Руки больно, стыло! Не чую, не чую!.. Больно же, больно! Гы-гы-гы!

Дарья вскочила с постели, подбежала к нему, завозилась над крепкими мужицкими узлами.

Сзади к ней подскочил Иван:

– Не смей!

Дарья оттолкнула его с силой так, что он отлетел в сторону и расшибся о лавку, взвыл и давай честить жену:

– Ты, ты виной тому! Твоя порода! Щенок!.. – Досыта наругавшись, он забрался на полати – к Васятке.

– Дядя Ваня, пускай, – с чего-то виновато пробормотал тот, чтобы успокоить его.

В углу же, развязав Федьке руки, Дарья стала сердито шептаться о чем-то с ним. Затем она прошлепала босыми ногами по полу, принесла и бросила ему овчинный тулуп, принесла и краюху хлеба с ковшиком кваса. И Федька, умяв хлеб, уснул.

На следующий день, проспавшись, он покрутил кудлатой башкой, утер ладонями безобразно опухшее с похмелья лицо, ударил себя в грудь кулаком:

– Батя – все! Зарок дал!

«Присмирел!.. Надолго ли?» – подумал Иван, с ненавистью глядя на своего непутевого старшего сына...

* * *

Провожать служилых в поход высыпали за стены все жители Томска. На высоком яру, подле стен острога, столпились девки. Те, что были посмелее, спустились вниз и толкались вместе с бабами среди служилых. Тут же шныряли мальчишки и собаки.

Васятка заметил Зойку, та высматривала кого-то в толпе. Встретившись с ним взглядом, она смутилась, отвела глаза в сторону и успокоилась. И он догадался, что она искала его. Под шубейкой сразу стало жарко, как в парной, и руки и ноги у него одеревенели. Ему бы подойти к ней, но ни сил, ни смелости не хватило.

А Зойка?.. Ох! Зойка, Зойка!.. Она вдруг кинулась к нему, при всех-то, обняла, на секунду повисла на нем, припала, всхлипнула, чмокнула, неумело, звонко, в щеку: «Я буду ждать!»... Затем она быстро отстранилась от него, но не отошла, встала рядом, на виду у всего острога, заявляя этим всем что-то.

Да так, что Баженка даже крикнул в восхищении от дерзости своей дочери и расплылся улыбкой: вот, дескать, это по-нашему...

Такой большой отряд из острожка, пожалуй, никогда раньше-то и не выходил. Жители и не помнят, хотя походов было немало, несмотря на то что острог стоит всего-навсего одиннадцатый год. В новизну это было, поэтому его провожали с шумом, пьянками и драками.

– Ты чего, ядрена тебя, загодя хоронишь меня!..

– Маркелка, стервец, токмо не вернись!.. Я тебе покажу тогда!..

Хрипунов подозвал к себе Пущина.

– Иван, трогай, трогай! Что стоять-то? Разбегутся ведь по избам! То забыли, да это!..

Мудрят!

Пушин подал команду десятникам, и те забегали, стали подгонять служилых.

– Баженка, давай, давай! – закричал он казацкому атаману. – Твои вперед! За тобой еушта!

Казаки двинулись к реке, медленно, как бы нехотя, пьяно покачиваясь. Да ничего – на морозе все быстро выветрится... Вперед, торить лыжню, пошли самые крепкие ходоки.

– У тебя что-то неладно дома-то? Так ли? – спросил воевода Пущина.

Иван что-то неопределенно пробормотал, пожал плечами, недоумевая, с чего бы это нужно было воеводе.

– Может, отставишь поход?... Баженка пойдет вместо тебя, а?

– Что об этом сейчас-то говорить.

Хрипунов сочувственно глянул на него: не стал копаться в его семейных болячках. У него вон в бороду седина ударила, несподручно ему выговаривать, в отцы он ему годен.

– Пошли, – бросил Пушин Васятке, пристраиваясь к цепочке казаков.

Васятка двинулся было за ним, на мгновение задержался, оглянулся, выхватил из толпы бледное лицо Зойки с широко открытыми глазами. В них было что-то такое, от чего он замер на месте. Заметив это, Зойка порывисто дернулась в его сторону – и тут же бессильно уронила руки...

– Васятка, не отставай! – крикнул Пушин ему.

Васятка еще раз бросил взгляд назад, на сплошную серую массу провожающих, и больше не увидел там Зойки. Он отвернулся и побежал вслед за своей сотней, тяжело волоча лыжи с чего-то ослабевшими ногами.

Отряд Пущина в две сотни человек, с нартами, собаками и легким полковым нарядом, растянулся на целую версту. Такой дальний поход, да еще по указу с Москвы, Иван раньше-то и не водил. Поэтому к нему он подготовился тщательно, приложил немало сил. И вот теперь они шли вверх по Томи, все вверх и вверх, торили и торили снежную целину по зимнику, оставляя позади себя укатанную дорогу, которую тут же, через день-два, занесет, запорошит метельное ненастье.

Тайга закончилась. По берегам пошли степи. Вот круто, в одном местечке, взметнулась береговая осыпь. Она поскакала, поскакала вдоль реки, и снова потянулись низкие унылые равнинные берега, обвьюженные пластами снега, нависающего карнизами над рекой. Чем дальше от острожка, тем все ниже и ниже становился бережок. А с него метет, крутит, хлещет снегом, швыряет пригоршнями, и прямо в лицо, задувает под меховую одежду, лезет в щели, отыскивает и достает разгоряченное ходьбой жаркое тело. Да все норовит поперек людям: поверни человек, не пройти, размахнусь, не пушу, пропадешь!.. Отсидись за ветром, рвущимся из-за поворота реки, да все навстречу им, служилым. Далеко до следующей затишной сторонки. Тут река и ветер пошли бок о бок, вместе, рука об руку. По пути им, по дороге, но против человека... А жилья-то кругом – не на одну сотню верст – не сыщешь... Казаки и стрельцы уперлись: плечо вперед, друг за другом, держи, тяни нарты. Да смелей, не робей, потужимся, поломаемся: кто – кого...

Завыла пурга, не высунуться из-за мысочка: несет, поет, с ног валит. И Пущин разбил под берегом, в закуточке, стан. Отсиживались по шалашам из наскоро нарубленного ивняка. Его повязали стенкой, прикрыли сверху шкурами, а их еще придавили пластами снега.

Холодно, ревет ветер, но не тоскливо в становище. Служилые варят кипяток и кидают туда строганину, да солонину. Поедят, запьют сладкой бурдой, что вышла из солода: тепло, сытно, хмель в голове и словцо на языке. А времечко-то идет и идет, что добрый иноходец. Глянь – пурги нет, как не бывало.

Снова скрип лыж, поохивают нарты, взлаивают собаки, вертятся, суются под ноги: с ними морока, без них скука.

Вот и опять обвысился бережок, заугрюмел, полез вверх, понемножечку, полсажени, да еще половина. А тут целых две... Глянь, и скалы, забытые было. Серые, пересыпанные белым снежком, что у иной бабы руки мукой в суетливую стряпню, когда вертится она день-деньской подле печки, шмыгает туда-сюда с караваями да лепешками... Сейчас бы такую лепешку, горяченькую, с пыла-жара. Ух-х! хороша! Да нет, тут иной жар – и тоже ломит кости, норовит ухватить за нос или куснуть за ухо. Только подставь под ветерок – сразу обелит, мазнет, что мучицей тройного помола...

Проводником в голове отряда бежал Ивашка Тихонький, казацкий десятник. Дорогу-то он знал хорошо. Чай, хожено по ней: и вверх, и вниз по реке. Да оттуда-то бегом, чуть живой ушел, хоть и был с казаками и еуштинскими татарами: абинцы пограбили, заказали все пути-дорожки. Отстоял только Базаяк, их князец. Чего доброго – и душу бы отняли... Пока требовал ясак: мешал, знобил, серчали, лаяли поносными словами... Как ушел – забыли...

И вот, наконец-то, добрались они до места, куда шли.

Острожёк они рубили в устье Кондомы, на пойменном берегу, напротив высокого яра на другой стороне реки. Не острожёк, а так – тын-тыном, из жердей и бревен. Поливая водой, они стали вязать его ледяной коркой. Выходило ладно, споро, издали крепко, с виду высоко, а внутри – хлипко.

– Хм! Иван, а ты рискуешь, – сказал Баженка. – Солнце припечет – он и развалится.

– До весны простоит. А там пусть валится. Тепла ждать не будем. Соберем ясак и домой, – успокоил Пущин его.

Он задал работу служилым и, чтобы размяться, тоже взялся за топор, стал рубить помост для пушек. Рядом побрякивал Васятка, всаживая стальное лезвие в звенящую и мерзлую, как лед, древесину. Федька махал вяло, точно отбывал повинность. Ему не хватало искры. И он поминутно отвлекался, поглядывал за реку, через белую равнину, где возвышалась береговая терраса. Что там? Дальше... Подняться бы, взглянуть. Манит... Отсюда не видно. И как-то не по себе от этого. Глаз стремится к простору, а упирается в заснеженную круч, белизна которой, незаметно сливаясь, переходит в серое небо. Ни точки, ни черточки, ни жизни, ни человека, ни зверя. Тоскливо, хотя и белым-бело.

– Ты что раскрыл рот! – толкнул Васятка в бок Федьку. – Работай, работай... Попотей, потеши, отойдешь тогда.

– Ладно, пусть передохнет, – сказал Пущин, чувствуя, как на раскаленном воздухе сбивается дыхание.

К ним подошел Баженка.

– Иван, твои стрельцы опять буянят! Ну что с ними поделаешь? Строить острожёк, говорят, пусто, мимо дела. Давай-де пойдем по ясак, по улусам... Хе-хе! Так там же арачка⁴²! И девки то ж уступчивы! Ха-ха-ха!.. Язви их, этих твоих!

– Твои что – лучше? – обиделся Пущин за своих стрельцов.

– Ладно, ладно! Пойдем уламливать!

⁴² Арака (арачка) – водка на кумысной закваске.

Пушин бросил топор, накиннул полушубок.

– А ну пойдем, – сказал он Васятке.

– А я, батя?! – вскричал Федька, с надеждой взглянув на отца.

– Ты стучи, стучи, – наставительно сказал ему Пушин. – Мал еще туда лезть. Там и по морде может перепасть... От сей расхлябицы, – пробурчал он.

Он заранее нагонял на лицо строгость, предвидя, что придется пособачиться со служилой стихией. Уж он-то знал, что как только отойдут казаки на версту от острога и вдохнут таежного хмелька, так тут же болтушкой забродит в них свобода.

Пушин, Баженка и Васятка подошли к опушке леса. А там сватажились и галдели служилые, совсем как надоедливые ронжи, которые, обычно налетая откуда-то осенней порой, выдают с головой охотника всей лесной округе.

– Сотник, ты тут за воеводу – так воеводствуй! Махать топором и без тебя есть кому! Решаем: как быть с острогом!.. Сделай по-воеводски!..

– Служба, не то затеяли, – миролюбиво начал Пушин.

Казаки и стрельцы подняли голос: «Сургутский, ты кого боишься? Уж не "кузнецов" ли!.. За пару недель управимся и назад!»

– Хватит, нечего драть глотку! – осадил их Пушин; ему хватило выдержки ровно на пять минут разговора с казаками. – Велено наказом – делай! Руби и молчи! Жердь на острог, под наряд – бревна!

«Базаяк придет и увидит этот кавардак! – со злостью подумал он. – Как же, защитят от киргиз, коли сами не разберутся промеж себя!»

– Сёмка, Богдан, я вам не Хрипунов! – закричал он на братьев Паламошных, вечных зачинщиков смуты. – «Дон» заводите?! Андрюшка, ты что, что, тоже с этими...?! – вылупил он глаза на «литвина».

– Иван, полегче! – испугался Баженка, зная норовистость своих казаков.

Андрюшка же смущенно пожал плечами, мол, не может же он выступить против своих.

– То, сотник, твоя печаль! А я – как все!

– Ладно, казачки, принимайся, принимайся за дело, – благодушно заворчал Баженка, расплылся ухмылкой, довольный, что сотник достаточно получил от казаков. – Поскребли зубы, потачали – и хватит! Оставь на последыш – до дома, до бабы! А то чем ее-то кость грызть будете?

– Ха-ха-ха! Ну, Баженка, и башка же у тебя! Вот это атаман! Учись, сотник!.. Срубим острожёк – Баженку воеводить!..

Атаман подтолкнул в бок Пущина: и тот тоже захохотал, удивляясь, с чего бы это он вдруг на казаков-то...

Служилые покричали, выдохлись, разошлись и взялись за работу. Застучали топоры, и казаки потянули из леса волоком и на санях жерди и лесины.

– Иван, Баженка! – послышались крики от острожка. – Тут до вас!.. Базаяк пришел!

– Васятка, иди к Федьке, – велел Пушин малому. – Погляди, как он. Да полегче, не обижай, – попросил он его. Он все время чувствовал какую-то свою вину перед сыном. И не только из-за недавнего его бузотерства. Нет. Раньше, раньше надо было... А что надо было делать раньше, он и сам не представлял.

Он проводил Базаяка к себе в крохотную, только что срубленную избенку и открыл флягу с водкой. Ее он вез специально для угощения князца и его родовых мужиков: если те упрутся, откажутся платить ясак.

– Как нынче зверь-то? – спросил он князца. – Добычливый год, а?

При нем, при Пущине, в этом походе толмачил молодой татарин Лучка, с глазами неглупыми и жаркими. А уж непоседлив он был и ловкий, весь перевит тугими мышцами. Сюда, в Томск, он пришел своим хотением, откуда-то из Барабинской степи. Но пришел он не

служить, ходил вольным по Томскому острогу. И веру здесь он сменил по своему хотению. Отец Сергей принял его под свое крыло, ввел в лоно православных. А Лучка менял легко не только веру, он был способен говорить и на многих сибирских языках, имел тягу ко всему иноземному. И воеводы, за все эти его слабости, завлекли его на службу. Они стали гонять его толмачом с казаками по разным посылкам в иные земли, как вот, например, сейчас.

Лучка полопотал с князцом, перевел ему, что тот говорит, зверь-то есть, да вот охотники не идут на него: бояться оставлять свои стойбища. Придут-де киргизы или колмаки: жёнку заберут, детей заберут – все заберут. Потом соболя за них давай, белку давай... Не то, говорят, не вернем...

В избушку ввалился Бурнашка. Каким-то чутьем он точно угадал назревавшую выпивку. За ним в избушку проскользнул Васятка. Он шепнул Пушкину, что с Федькой все в порядке, тот у стрельцов, и сел рядом с ним.

Пушин налил всем водки.

– Ну – за добрую охоту! – сказал он князцу, подняв чарку.

Выпили... Базаяк, выпив, поперхнулся от огненного питья.

– Питухов и здесь разводим! Ха-ха-ха! – расхохотался Бурнашка, заметив, что князец косит глазами на клягу с водкой: очень уж хороша. Ох и хороша!..

– Теперь Кубасак никуда не денется, а? – спросил Баженка князца. – Сам видишь: царь послал многих людей. И еще пошлет против своих недругов.

Базаяк согласно закивал головой, стал поддакивать:

– Да, да! Моя говорил Кубасак: плохо делаешь, нехорошо... Белый царь побил Кучума. У Кучума много воинов было – мал мала стало. У тебя совсем не будет... Дай шерть⁴³ царю. Царь просит мало, совсем мало. Киргиз и колмак много берет, много... Кубасак говорит – нет!.. Шибко глупый Кубасак...

Баженка был знаком с Базаяком давно. Он уже приходил сюда шесть лет назад вот так же за ясаком. Как и у Ивашки Тихонького, его поход закончился провалом. Из местных князцов никто, кроме Базаяка, не дал ни ясак, ни шерть московскому царю.

– Вернемся, засылай, Иван, сватов, – плутовато глянул атаман на Васятку, с виду захмелев ничуть не меньше князца. – А Федьку тут оставим... Базаяк, у тебя девки-то есть?.. Девки, я говорю, девки есть! – крикнул он, видя, что тот не понимает его.

Хитер был атаман, глазаст, нарочно притворялся пьяным. В последнее время заметил он, что его старшая дочь вроде бы худеть стала, да все поглядывать в окошечко, к стуку двери прислушиваться: кто там и с чем пожаловал... Присуха завелась, девичья. Присуха... Да-а!.. И провожать в поход его напросилась за стены острожка, чего не делала раньше-то никогда. Все кого-то выглядывала, высматривала... А потом что было?.. Да что говорить – все ясно... Ничего не ускользнуло от старого атамана, зорек у него еще глаз. На то и атаман, чтобы дальше других видеть и все примечать... Эх, ма-а! Вот оно как! Уже и девок выдавать пора...

Лучка перевел слова Баженки князцу. И тот утвердительно закивал круглой головой с жесткими прямыми и черными, уже с проседью волосами. Оскалившись желтыми зубами, он показал на пальцах, что у него есть три девки, даже три.

– Колтугу⁴⁴, колтугу!.. Карош девка! – показал он знаками, что они у него красавицы, и много у них женихов. Да и он не прочь отдать их: хлопотно, кормить надо... Пусть муж кормит.

– Девок-то воруют у вас, аль так выдают?

– Воруют...

– Ну и добре!

⁴³ Шерть – клятва на верность.

⁴⁴ Колтугу – невеста (*шор.*).

– Ты, Базаяк, одну отдай лучше вот за этого парня! – шутливо похлопал Пущин по спине Васятку. – Отменный зятюшка будет! На все руки мастер!

Базаяк что-то залопотал и рассмеялся, когда Лучка растолковал ему, что хочет сказать сотник.

– Он говорит – бери всех! Всех отдам такому каазык⁴⁵!

Базаяка и его улусных напоили и проводили за ворота острожка. С неохотой покидал князец уютную и гостеприимную избушку сотника, где было еще много, очень много водки.

– Ну, Иван, и сынка же ты слепил! – хохотнул Бурнашка, когда в избушке остались лишь свои; у него под хмельком всегда развязывался язык, будто его тянул какой-то бес; и он выбалтывал такое, отчего потом, протрезвев, готов был драть на голове волосы. – Как же за него мою единственную-то отдать? Не-е, не отдам Парашку!.. Братаны за нее знаешь что поделяют с твоим Федькой, если тронет пальцем?.. Вот – то-то! И я не знаю. Но и попасть не хотел бы им в руки... В матку они. Она же, что шатун по зиме: порешит – не моргнет!..

– Ты про что это?! – обиделся за своего сына Пущин.

Чтобы сейчас, не ко времени, не поцапаться с десятником, он снова налил водки ему и атаману. Плеснул он немного в кружку Лучке и Васятке. Выпив, он крикнул, положил руку на плечо атаману: «Славная у тебя жена, Баженка!»

– Да, да, Иван! – согласно поддакнул тот. – Такую надо еще поискать!

– Где же ты нашел-то ее? – спросил Бурнашка. – Подскажи, может, и казаки поищут там же! Без баб-то пропадают!

– Не-е, Бурнаш, там нет больше таких! – засмеялся атаман, хитро прищутив глаза.

Баженка здорово походил на свою жену: они были парой, как два сапога. Такой же большеглазый, с прямым честлюбивым носом и чуть-чуть вытянутым лицом, он был недурен собой, и даже очень. Так что бабы заглядывались на него. Но ни одна из них в остроге, да и за его стенами, не могла бы похвастаться, что окрутила видного атамана, отбила, хотя бы на вечерок, от его Катерины. Ладно скроенный, еще в своем возрасте статный, лихой наездник, он был любитель таких скачек, на какие даже Катерина смотрела с опаской. Он всегда что-нибудь вытворял на коне, когда обучал казаков сабельному бою или показывал, как надо уходить от поющей стрелы степняка, укрываясь на полном скаку за крупом коня.

– Почто нет? Перетаскали! Ха-ха-ха!.. Казаки сходят, найдут, приведут по такой же!

– Перетаскали не перетаскали, а нет! – благодушно потешался над ним Баженка. – Последнюю забрал я.

– Ты давай – рассказывай, – подтолкнул его в бок Пущин. – Не тяни, раз завел.

– Ну что ж, слушай, если напросился, – начал Баженка, чтобы не отказывать сотнику. Того он уважал за характер. Жесткий сотник был, в глаза все скажет, но воеводе не выдаст, если что случится с казаками. Не пустой оказался сургутский. – Ты, Иван, не забыл еще дорогу-то сюда по реке?.. И помнишь: на Оби живут вогулы?

– Да не вогулы, а какой-то непонятный народишко!

– Да, да, помнишь, – согласился атаман. – Так вот, то было года за три до того, когда Годунов сел на царство. Указы тогда пошли сюда о всяких вольностях инородцам. И вот ходил я в ту пору из Сургута по ясак. Совсем как сейчас. Только поменьше нас было. И, представь, в одном улусе я углядел Катерину. Ну, она была тогда не Катериной... А поразили меня на то, что их семейство-то, а у отца с матерью она была да еще брат, всего-навсего, уж больно отличалось от остяков и вогулов. Те-то черные, а они... Ну, как мы, русаки. Токмо носы попрямее. У тебя-то вон, что кулак прилепили на роже! – показал он на нос Бурнашки, не преминув подцепить его. – Ха-ха!.. А там все аккуратненько. В общем, сам знаешь, Катерину видел не раз. И характер к тому же! Что говорить об этом. Ну и чую я: шагу оттуда

⁴⁵ Каазык – здоровый, здоровяк (*шор.*).

не сделаю без нее!.. Да и ее уговаривать не надо было... Я же был тогда ого-го! – повел плечами атаман.

– Ха-ха-ха! – расхохотался Бурнашка. – Ты и сейчас хорош, атаман!

– Ладно, будет, будет... Так и увез я ее из улуса. Ясное дело: окрестили ее Катериной. И мы обвенчались с ней тотчас у отца Маркела. Да ты знаешь его, – сказал он Пущину. – Он и тогда был уже таким: питух-питухом! Хм!.. Она рассказывала мне потом, что ее дед с бабкой вроде бы пришли откуда-то с верховьев Томи... С гор откуда-то, может, и отсюда, – неопределенно повел он рукой, показав куда-то за стены избушки. – Род, говорит, большой был. И вокруг тоже такие жили, как и они, с голубыми глазами... И рыжие, да не совсем, а вот такие, как мы... Куда все разбрелись – никто не знает. Только у них в семье сказ про то есть, что началось оттого, когда сюда пришли никанские люди⁴⁶: волос жесткий, вороньего крыла, и глаза – тоже...

– Да-а, Баженка, – протянул Пущин. – Странно рассказываешь... А уж не выдумал ли ты? Нам на потеху!

Баженка развел руками: мол, хочешь верь, хочешь не верь.

Он, мужик прямолинейный, не в силах был надумать такую складную байку о своей женитьбе. Да, на самом деле так и было, как он рассказывал об этом уже не раз. Правда, чем чаще он рассказывал об этом, тем все больше вплетались в его рассказ новые детали, каких раньше не было, и, возможно, не было на самом деле. Но этого никто не замечал. Да и никого особенно не интересовало, как там было дело. Главное было в том, что атаман отхватил себе такую жену. Да еще где? Здесь, в Сибири.

* * *

По улусам уходили отрядами в три-четыре десятка человек, взяв с собой проводниками по мужику из родичей Базаяка.

Сына Пущин оставил в острожке: не рискнул никому навязывать.

От этой воли над ним отца Федька чуть не взвыл.

«И это тогда, когда он во всем потакает Васятке, отпустил его с Бурнашкой!.. А его, Федьку, никто ни во что не ставит, все считают пацаном! Каждый, кому не лень, учит! Вон, даже этот вахлак Митька Згиба. Все в походах, а ему сидеть тут, да еще при отце-то. Что! Для этого он тащился сюда?»...

И он бросился к Андрюшке, забежал около него, стал умолять его взять с собой.

⁴⁶ Никанские люди – китайцы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.